

Подмастерье инквизитора

Кристина Соль



Кристина Соль

Подмастерье инквизитора

<https://litres.ru/74681462>

SelfPub; 2026

Аннотация

Париж, 1268 год. Учёная из XXI века приходит в себя в теле ученика Роджера Бэкона, утонувшего при загадочных обстоятельствах. Ученик был девушкой, а его гибель связана с рукописью, которую Бэкон тайно, в обход своего ордена, готовит для папы Климента IV.

Пока она везёт подлинник из Парижа в Витербо, к папе другой дорогой уже идёт подделка, в которую кто-то вписал ересь. Героине предстоит распутать подлог по уликам, которые можно проверить: шерстинке под ногтями, синякам от узлов на верёвке, слоям чернил на пергаменте, стёртому воску. Ей предстоит доказать правду умирающему папе, бывшему юристу, который верит только доказательствам. И при этом не выдать себя нотарию инквизиции, который едет рядом и всё записывает.

Исторический детектив о научном методе, дружбе и предательстве, о любви, для которой у закона нет статьи, и о том, что книги живут дольше людей.

Содержание

Глава 1. Холод	4
Глава 2. Нотарий	22
Глава 3. Подмастерье	40
Глава 4. Что нашли в реке	55
Глава 5. Мастерская	72
Глава 6. Тайник Жанны	95
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Кристина Соль

Подмастерье инквизитора

Глава 1. Холод

Холод пришёл раньше меня. Я ещё не понимала, кто я и где лежу, а он уже хозяйничал в теле: сидел в затылке, в пальцах ног, в челюсти, которая ходила ходуном так, что зубы выбивали мелкую дробь. Звук был отвратительный и очень громкий. Потом я сообразила, что громкий он только для меня, потому что раздаётся внутри головы, и с этого соображения, кажется, началась я сама.

Мысль была простая и профессиональная: дрожь. Пока тело дрожит, оно греется. При глубоком переохлаждении дрожь прекращается, и вот это уже по-настоящему плохо. Я дрожала. Значит, температура выше тридцати, значит, сердце работает, значит, кто-то должен был меня укрыть, и почему-то не укрыл.

Я попробовала открыть глаза и обнаружила, что они открыты. Темнота стояла плотная, сырая, без единого пятна. Ни зелёных огоньков монитора, ни полосы света из коридора, ни того неистребимого больничного полумрака, в котором никогда не бывает совсем темно. Я лежала на спине, на чём-то твёрдом и плоском, и это твёрдое тянуло из меня

последнее тепло, как промокашка тянет чернила.

Последнее, что я помнила, было лабораторией. Четвёртая ночь без сна, спектрометр, который третий час выдавал мне одну и ту же невозможную кривую, остывший чай в кружке с отбитой ручкой. Цифры на экране вдруг поплыли влево, медленно и красиво, и за правым глазом вспыхнула боль, такая яркая, что я успела подумать о ней словами: аневризма. Классическая картина. Я даже успела рассердиться, потому что кривая так и осталась неразобранной. Дальше не было ничего.

Отсюда следовало, что я в реанимации. Это было бы логично. Логику портил запах. В реанимации пахнет хлоркой, спиртовыми салфетками, пластиком и чужими лекарствами. Здесь пахло мокрым камнем, речным илом, гарью от сальной свечи, которую задули давно, и ещё чем-то сладковатым, тяжёлым, с примесью щёлока. Я ещё студенткой проходила практику в морге областной больницы. Этот сладковатый слой я узнала раньше, чем захотела.

Ладно, сказала я себе. Ошибка в документах, перепутали палату, санитар отвёз не туда. В любой системе бывают сбои. Сейчас придут, извинятся, переведут.

Сверху на мне лежала ткань, грубая, льняная, накрывающая с головой. Я пошевелила рукой, чтобы её стянуть, и рука послушалась плохо: пальцы были деревянные, далёкие, словно их выдали напрокат и забыли объяснить, как ими пользоваться. С третьей попытки ткань сползла с лица. Темнее не

стало, светлее тоже. Где-то справа и далеко внизу обнаружилась тонкая серая нитка: свет под дверью. Слабый, утренний, без электрической желтизны.

Волосы у меня были мокрые. Это я поняла, когда повернула голову и щёку обожгло холодом. Вода стекала с них на камень медленными каплями, и я слышала каждую. А в затылке, там, где голова касалась плиты, жила отдельная, тупая, тёплая боль. Единственное тёплое место во всём теле. Я осторожно подняла руку и нащупала шишку размером с половину куриного яйца, а на ней корку. Кровь, подсохшая и снова размокшая.

Удар по голове, вода, переохлаждение. Меня приняли за мёртвую, и это было, в сущности, неудивительно: при сильном охлаждении пульс становится нитевидным, дыхание редким, зрачки реагируют вяло, и неопытный человек легко ошибётся. В учебниках по неотложке есть старая притча на этот счёт, которую я когда-то повторяла студентам: никто не мёртв, пока он не тёплый и мёртвый. Меня, судя по всему, ещё никто не грел.

Но я не падала в воду. Я сидела в лаборатории, в сухом и тёплом корпусе, на третьем этаже, и меня никто не бил по затылку.

Я поднесла руку к лицу, и тут начались по-настоящему неприятные вещи.

Ладонь была узкой. Моя ладонь, сколько я её помнила, была широкой, с короткими пальцами, «не пианистка», го-

ворила мама, и я всю жизнь стригла ногти под корень, потому что работала руками. Эта ладонь была длиннее, тоньше в кости, и пальцы у неё были длинные. Я провела большим пальцем по подушечкам остальных и наткнулась на мозоли. Твёрдые, гладкие, отполированные, на подушечке большого и на боковой стороне среднего, и ещё одна, широкая и плоская, у основания ладони.

Я знала эти мозоли. У нас в институте до самой пенсии работал Пётр Ильич, последний мастер ручной оптической шлифовки на весь город. Он доводил линзы для наших установок, которые станок не брал, и я однажды попросила потрогать его руки, потому что меня интересовала механика. Он засмеялся и дал. У него были ровно такие же мозоли, на тех же местах, оттого что сорок лет пальцы держали заготовку и вели её по шлифовальнику круговым движением, по восьмёрке, с равномерным давлением.

У меня таких мозолей не было никогда. Я оптик, я рассчитываю стекло на бумаге и в программах, а тереть его руками мне не приходилось ни разу.

Я положила руку на живот, на то место справа внизу, где с четырнадцати лет у меня был косой рубец от аппендицита, плохо сшитый в районной больнице. Сквозь мокрую шерсть рубашки я его не нащупала. Я задрала подол непослушными пальцами, добралась до кожи и провела по ней ладонью от бедра до пупка, медленно, дважды. Кожа была гладкой, холодной, покрытой мурашками, и совершенно чистой. Шра-

ма не было.

Колено, которое ныло у меня на погоду уже лет десять, не ныло. Спина, которую я сорвала на даче, таская мешки с землёй, не тянула. Тело было лёгким, тонким, выстывшим до костей и абсолютно незнакомым. Оно было моложе меня. Насколько моложе, я сказать не могла, но по коже на животе, по суставам пальцев, по тому, как легко поддалась шея, когда я поворачивала голову, выходило, что лет на пятнадцать, если не больше.

Сердце, которое до сих пор колотилось от холода, заколотилось иначе.

Я заставила себя дышать медленно. Паника есть химическая реакция, адреналин, кортизол, сужение сосудов, а сужение сосудов при переохлаждении мне сейчас нужно меньше всего. Значит, паниковать я буду потом, когда согреюсь. Я давно умела откладывать чувства на потом и даже гордилась этим. На консультации у психотерапевта, куда меня затащила сестра, мне сказали, что именно этим я себя и угробила, но тогда я не поверила.

Под мокрой рубашкой было что-то ещё. Я почувствовала это, когда сделала глубокий вдох: рёбра упёрлись в тугую полотняную обмотку, туго намотанную в несколько слоёв от подмышек почти до пояса. Первой реакцией была врачебная: перелом рёбер, фиксирующая повязка. Я ошупала обмотку. Края были заправлены аккуратно и привычно, слои лежали ровно, ткань была старой, много раз стираной. Пе-

релому не накладывают повязку из домашнего полотна, которая выглядит так, словно её носят каждый день. Я провела ладонью сверху вниз и под полотном нащупала грудь, небольшую и плотно прижатую к рёбрам. Обмотка была сделана затем, чтобы её не было видно.

На мне были шерстяная рубаша, доходившая до середины бедра, под ней ещё одна, полотняная, и узкие шерстяные штаны, или чулки, натянутые до самого пояса и подвязанные к нему шнурками. Ноги босые. Пояс кожаный, с пряжкой, пустой. Одежда была мужская, сшитая по фигуре, и сидела на этом теле так, как сидит одежда, которую носят давно и не замечают.

Значит, так. Молодая женщина, которая шлифует стекло, носит мужскую одежду и прячет грудь. Женщину ударили по затылку, она побывала в холодной воде, её сочли мёртвой и положили в комнату, где пахнет речным илом и щёлоком. А в этой женщине почему-то нахожусь я.

Я попыталась сказать что-нибудь вслух, чтобы услышать собственный голос и хоть за что-то уцепиться. Губы зашевелились раньше, чем я решила, что говорить. Тихо, сипло, на одном выдохе, они выговорили: «Pater noster, qui es in caelis...»

Я замолчала так резко, что прикусила язык.

Латынь я знала. Знала так, как её знает любой, кто учился в медицинском и потом полжизни читал старые статьи: термины, корни, кусок клятвы Гиппократы, «Gaudeamus» на

выпускном. Но я никогда не произносила «Отче наш» на латыни. Я и по-русски не помнила его целиком. А сейчас мой рот прочитал первую строку легко, быстро, привычно, с каким-то незнакомым мне выговором, с раскатистым «р» и открытыми гласными. Так говорят слова, которые повторяли тысячу раз, каждый вечер, не думая.

Это испугало меня сильнее, чем пропавший шрам. Пропавший шрам можно было объяснить, хотя бы теоретически. Пластика, ошибка памяти, галлюцинация, чужое тело, да что угодно. А рот, который сам молится чужими словами, никакой теории не поддавался.

Где-то наверху, далеко, за толщей камня, ударил колокол. Один раз, потом ещё, неторопливо и глухо. Звук прошёл по стенам и, мне почудилось, по плите подо мной. Колокол бил долго. Я лежала, считала удары, сбилась на одиннадцатом и бросила. В больницах, насколько я знала, в колокол не звонят.

Потом под дверью посветлело. Нитка света стала толще, задрожала, поползла вбок, и я услышала шаги: шлёпающие, неровные, будто человек нёс что-то тяжёлое и держал его неловко. Шаги остановились. Зашуршало, звякнуло, кто-то шёпотом, но очень отчётливо выругался по-французски, и это слово я поняла сразу и целиком, хотя по-французски знаю только «мерси» и «бонжур». Потом лязгнул засов, и дверь, низкая, тяжёлая, обитая железом, со скрипом поехала внутрь.

Я закрыла глаза. Не знаю почему. Наверное, потому что все животные так делают, когда не понимают, кто идёт.

Сквозь ресницы я видела, как в комнату вползает свет: жёлтый, рыжий, дрожащий, от одной-единственной свечи. Вслед за светом вошёл человек. Он был молод, совсем мальчишка, лет двадцати с небольшим, и одет так, что мне сразу стало ещё холоднее. Длинная ряса из некрашеной серо-бурой шерсти, грубой, в катышках. Капюшон откинут на плечи. Верёвка вместо пояса, и на свисающем конце верёвки три толстых узла. Босые ноги в деревянных сандалиях. Голова выбрита на макушке кругом, а вокруг круга оставлен венчик волос, рыжеватых, торчащих, давно не стриженных.

Я смотрела на эти три узла и вспоминала, откуда их знаю. Три узла на поясе францисканца: бедность, целомудрие, послушание. Я видела их в музее, на манекене, и ещё в каком-то фильме, где монахи ходили со свечами по каменной галерее. Мозг выдал справку услужливо и бесполезно, как поисковик, который на запрос «где я» показывает рекламу.

Мальчишка поставил свечу в нишу в стене. Под мышкой у него была деревянная лохань, в другой руке кувшин, а через плечо перекинут кусок полотна, сложенный в несколько раз. Лохань он опустил на пол у моих ног, кувшин рядом, и в свете свечи я наконец разглядела комнату.

Это был подвал, низкий, сводчатый, сложенный из серого камня, который потемнел от сырости и местами покрылся белым налётом. Свод нависал так низко, что мальчиш-

ка, проходя под его скатом, привычно пригнул голову. Вдоль стены стояла вторая плита, такая же, как моя, широкая и серая, пустая. На стене над ней висело деревянное распятие, грубо вырезанное, почерневшее. В углу громоздились корзины, сложенные одна в другую, и стояла метла. С потолка у дальней стены сочилась вода, и под ней на полу темнело пятно. Окна не было вообще.

Мальчишка вздохнул, перекрестился на распятие, потом на меня и забормотал вполголоса. Говорил он по-французски, торопливо, глотая окончания, и я понимала его так, как понимают сквозь сон знакомую речь, без усилия и с крошечной задержкой, которая сама по себе была пугающей.

— Прости, Жан, вода ледяная, нагреть было не на чем, брат келарь дров не дал, сказал, покойнику всё одно. — Он развернул полотно и встряхнул его. — Тебе-то и правда всё одно. А мне руки потом не отогреть до вечерни. Ну ничего. Сейчас обмою, обряжу, и полежишь чистый. Брат Лоран всю ночь над тобой читал, только к первому часу ушёл, и глаза у него были... — Он не договорил, шмыгнул носом и вытер его рукавом. — Магистр-англичанин придёт за тобой после мессы. Сам сказал, что придёт. Так что будь красивый, ладно?

Жан. Меня звали Жан. То есть звали ту, в которой я лежала. Мужское имя, мужская одежда, обмотка на груди. И кто-то, кого называли братом Лораном, читал над этим телом молитвы всю ночь и ушёл с какими-то такими глазами, о

которых мальчишка не смог договорить. Значит, этого Жана любили. Мне стало неловко, как бывает неловко, когда случайно открываешь чужое письмо.

Мальчишка тем временем налил воды из кувшина в лохань, обмакнул в неё край полотна, отжал и, шепча что-то про себя, подошёл к изголовью. Он взялся за край ткани, которую я стянула с лица и которая теперь сбилась у меня на шее, и отогнул её.

Я открыла глаза.

Наверное, со стороны это выглядело неважно. Мокрые слипшиеся волосы, синие губы, лицо цвета плиты, и глаза, которые вдруг поворачиваются и смотрят. Я бы на его месте тоже закричала.

Он закричал. Высоко, по-детски, на одной ноте, и отшатнулся так, что мокрое полотно хлестнуло меня по щеке. Задел ногой лохань, лохань опрокинулась, вода плеснула по полу ледяной волной, кувшин покатился и треснул о плиту, и всё это прозвучало в низком подвале оглушительно, отражаясь от свода. Мальчишка отлетел к стене, впечатался в неё спиной, сполз на корточки и закрыл голову руками. Потом опустил руки, увидел, что я всё ещё смотрю, и заголосил полатыни, быстро, захлёбываясь, на каждом слове осеняя себя крестом: «Exorcizo te, immundissime spiritus...»

Изгоняю тебя, нечистейший дух. Это я тоже поняла, слово в слово.

— Не надо, — сказала я.

Точнее, я хотела сказать «не надо» по-русски. Но губы сложили другое слово, коротко и хрипло, по-французски, и мальчишка от звука моего голоса вжался в стену ещё сильнее. Голос был не мой. Ниже, чем у меня, сиплый от холода, с непривычной грудной ноткой. Я услышала его и поняла сказанное на полсекунды позже, чем произнесла. Это как смотреть фильм, в котором звук отстаёт от картинки, только кино было про меня.

— Изydi, — выдохнул он уже по-французски, тонко и неуверенно. — Именем Господа и святого Франциска, изydi из тела брата нашего Жана, он был добрый, он был хороший, он никому...

— Я не дух, — сказала я. Слова приходили сами, а я только успевала за ними следить. — Мне холодно. Мне очень холодно. Слышишь? Мне нужно тепло.

Он замолчал на полуслове и уставился на меня. Свеча в нише дрожала, по своду ходили тени, и лицо у мальчишки было белое, конопатое, с круглыми глазами, в которых плескался ужас пополам с чем-то, что я сначала не опознала, а потом поняла: надеждой.

— Ты же умер, — прошептал он. — Тебя вчера вечером из реки вытащили. Лодочник у Малого моста зацепил багром. Ты холодный был. Брат лекарь щупал жилу, говорил, нет её. Ты всю ночь лежал. Ты не дышал.

— Дышал, — сказала я. — Просто редко. Так бывает, когда человек долго пробыл в холодной воде. Сердце бьётся

медленно, и его трудно услышать. Ваш лекарь ошибся. Это не его вина.

Последнюю фразу я добавила зря. Она была из моей прошлой жизни, из ординаторской, из разговоров с родственниками, и мальчишка от неё снова начал креститься. Наверное, покойникам не полагалось выгораживать лекарей.

Меня трясло всё сильнее. Мокрая шерсть на теле не грела, а вытягивала тепло, и я понимала, что если меня сейчас же не переодеть и не укрыть, этот разговор может закончиться для меня второй смертью, на этот раз окончательной. Сама я раздеться не могла. Пальцы не слушались, я попробовала нащупать завязки на воротах и не нашла даже ворота.

— Как тебя зовут? — спросила я.

Он моргнул. Вопрос был такой простой и такой земной, что ужас у него в глазах на мгновение уступил растерянности.

— Реми, — сказал он. — Брат Реми. Ты же знаешь. Ты мне летом стекло показывал, через которое муравей большой, как жук.

Я этого не знала. Я не помнила ни Реми, ни лета, ни муравья. Это было ещё одно открытие, которое следовало отложить на потом, и я его отложила.

— Брат Реми, — сказала я как можно ровнее, так, как говорила когда-то с испуганными санитарями на первом курсе. — Ты видел когда-нибудь, чтобы бесы мёрзли?

Он подумал. Честно, всерьёз, нахмутив рыжие брови.

— В аду жарко, — сказал он неуверенно. — Брат Анри на проповеди говорил. Там огонь вечный.

— Вот видишь. А я замерзаю. Значит, я не бес. Я человек, которого ударили по голове и бросили в реку, и который сейчас умрёт от холода, если ты мне не поможешь. Это будет очень обидно, после того как я уже один раз не умерла.

Он смотрел на меня ещё несколько мгновений, и я видела, как в нём борются страх и что-то другое, тёплое, простое и упрямое. Потом он поднялся с корточек, медленно, придерживаясь за стену, и сделал шаг ко мне. Сандалии хлюпнули в разлитой воде.

— Что делать? — спросил он шёпотом.

— Снять с меня мокрое. Завернуть в сухое. Растирать руки и ноги, сильно. И огонь, если можно где-нибудь достать огонь.

— Огонь нельзя. Тут нельзя огонь, только свечу. — Он подхватил с мокрого пола полотно, которым собирался меня обмывать, и обнаружил, что оно вымокло. Ахнул, бросил его, кинулся к корзинам в углу и вытащил из верхней сложенный кусок такой же ткани, только сухой. Я поняла, что это. Саван. Он собирался обрядить меня в него после омовения.

Хорошо, подумала я. Пусть будет саван. Главное, что сухой.

Реми подошёл, присел на край плиты и с ужасной осторожностью, двумя пальцами, взялся за подол моей рубахи.

Я попробовала приподняться, чтобы ему было удобнее, и тело ответило так, что в глазах потемнело. Он подхватил меня под спину. Рука у него была горячей, как печка. Я никогда в жизни не была так благодарна за чужую руку.

Мокрая шерсть шла тяжело, липла, цеплялась за плечи. Реми тянул её вверх, бормоча себе под нос то ли молитву, то ли ругательства, и я помогала, как могла, поднимая негнущиеся руки. Наконец рубаша соскользнула через голову и шлёпнулась на пол. Под ней была вторая, полотняная, тонкая и тоже насквозь мокрая. Реми взялся за неё, потянул, и она пошла легче, задираясь, открывая живот, рёбра, а потом белую полотняную обмотку, туго намотанную от подмышек вниз. И тут его руки остановились.

Я смотрела на его лицо и видела всё: как он сначала не понял, как нахмурился, точь-в-точь как я десять минут назад, подумав о переломе, как скользнул взглядом по аккуратно заправленным краям, по тому, как ткань лежала на груди. И как до него дошло. Он побелел до синевы, так что веснушки на лице проступили, как брызги грязи. Рубаша застыла в его пальцах на уровне моих плеч. Он перестал дышать.

— Ты... — сказал он. — Ты...

И не договорил. Это слово, видимо, было из тех, которые нельзя договаривать.

Мы смотрели друг на друга, и я понимала то, чего ещё не понимала минуту назад. Если этот мальчишка испугался обмотки сильнее, чем мертвеца, открывшего глаза, значит,

женщина в мужской одежде здесь опаснее покойника, который воскрес. Я не знала почему. Я не знала даже, где именно это «здесь». Но пропорцию его страха я прочла так же ясно, как читала шкалу на приборе, и она мне совсем не понравилась.

— Да, — сказала я. — Ты правильно понял. А теперь, пожалуйста, укрой меня. Я правда очень замёрзла.

Он сглотнул. Потом, отведя глаза в сторону, к распятию, стянул с меня мокрую рубаху до конца, бросил её на пол и, не глядя, накинул на меня сухой саван, и закутал, торопливо и неловко, поверх обмотки, которую трогать не стал. Обмотка тоже была мокрой, и по-хорошему её надо было снять, но я решила, что для одного утра брату Реми хватит. Он завернул меня в полотно, как младенца, подоткнул края под спину и под ноги, а потом взял мои руки в свои и принялся растирать их с таким усердием, что кожа загорелась.

— Сильнее, — сказала я. — Не бойся. Сильнее.

Он тёр. Губы у него шевелились, и я разобрала, что он молится уже не об изгнании духа, а о чём-то другом, торопливо перечисляя святых. Кровь возвращалась в пальцы болю, острой, колючей, и я стиснула зубы, чтобы не застонать. Боль была хорошая. Боль означала, что ткани живы.

— Если узнают, — прошептал Реми, не поднимая глаз. — Господи помилуй. Если брат гвардиан узнает. Если кто узнает. Тебя же... Жан, тебя же...

Он опять не договорил. Похоже, в этом месте была целая

система слов, которые нельзя договаривать.

— Кто ещё знает? — спросила я.

— Никто. Я не знаю. Брат лекарь щупал только жилу на шее и на руке. Тебя положили как был, в одежде, сказали, обмоют утром. Утром — это я. Я всех обмываю.

Он сказал это с горьким достоинством, и мне вдруг стало его жалко до слёз. Двадцать лет, ряса в катышках, ледяная вода, которую не на чем согреть, и каждое утро чужие мёртвые тела. А сегодня в придачу тело, которое не только ожило, но и оказалось не тем, чем было.

— Никому не говори, — попросила я. — Пожалуйста. Мне нужно время, чтобы понять, что случилось.

Он поднял на меня глаза. Свеча в нише почти догорела, огонёк сделался маленьким и синеватым, и в этом свете глаза у Реми были тёмными и мокрыми.

— Я и не знаю, что сказать, — честно ответил он. — Я сам не понимаю, что я видел.

— Вот и хорошо, — сказала я. — Значит, ты ничего не видел.

Он кивнул, медленно, словно соглашался не со мной, а с кем-то внутри себя. И продолжил тереть мне руки.

Где-то наверху хлопнула дверь. Потом ещё одна, ближе. По лестнице, которую я не видела, но которая, судя по звуку, спускалась к нашему подвалу из коридора, загрохотали шаги, на этот раз совсем не шлёпающие: тяжёлые, быстрые, с металлическим призвуком подковок на каблуках. Шагов

было несколько. Кто-то спросил наверху: «Где кричали?», и чей-то другой голос, запыхавшийся, ответил: «Внизу, в мертвецкой». Реми выпустил мои руки и вскочил так резко, что едва не опрокинул свечу.

Мокрые рубахи валялись на полу. Обмотка на мне была укрыта только саваном. Мальчишка заметался, схватил с пола мою шерстяную рубаху, зачем-то прижал её к груди, потом, сообразив, что надеть её на меня не успеет, швырнул в угол за корзины и встал между мной и дверью, широко расставив ноги и растопырив руки, как стоят дети, которые прячут за спиной разбитую чашку.

Я смотрела на него, лёжа в саване на плите, и думала, что при моём везении это должен быть ад. Но в аду, по крайней мере, было бы тепло.

Дверь распахнулась так, что ударилась о стену. В проёме, на фоне серого утреннего света с лестницы, стоял высокий человек в чёрном плаще. Плащ был длинный, плотный, сколотый у горла пряжкой, и с его края на пол капала вода: на улице, видимо, шёл дождь. Капюшона на нём не было, и выбритого круга на макушке тоже. Тёмные короткие волосы, мокрые на висках. Лицо в полутьме разобрать было трудно, но я разглядела, что он не монах, и разглядела, что у него на поясе висит меч. За его плечом маячил кто-то в такой же, как у Реми, серой рясе, с фонарём в руке.

Человек в чёрном обвёл взглядом подвал: опрокинутую лохань, разбитый кувшин, лужу на полу, мальчишку с расто-

пыренными руками. И меня.

Наши глаза встретились, и он не отвёл своих. Он смотрел на меня так, как я сама смотрю на образец, про который ещё ничего не знаю, но уже знаю, что он неправильный. Спокойно, внимательно и без всякого страха.

— Кто здесь воскрес? — спросил он.

Глава 2. Нотарий

Человек в чёрном не стал ждать ответа. Он шагнул в подвал, пригнувшись под низким сводом, и вода с его плаща закапала на мокрый пол. Реми попятился и упёрся мне в колени. Он так и стоял, расставив руки, загорая меня неизвестно от чего, и я чувствовала спиной, через саван, как его трясёт.

— Брат, — сказал человек в чёрном спокойно, почти ласково, как говорят с лошадью, которая вот-вот понесёт. — Отойди.

— Он живой, — выпалил Реми. — Мессир, он живой, он говорит, он не бес, он замёрз просто, он сам сказал, бесы не мёрзнут...

— Вижу, что живой. Отойди.

Реми отошёл. Решимости у него не прибавилось, просто ноги сами понесли его в сторону: этот голос, видимо, слушались все. Человек в чёрном остановился у плиты и посмотрел на меня сверху. Вблизи я разглядела его лучше. Лет тридцать пять, может, чуть меньше. Лицо худое, загорелое не по-осеннему, с жёсткой складкой у рта и тонким белым шрамом через левую бровь. Глаза светлые, серые или зеленоватые, в свете фонаря не понять, и очень внимательные. Он не крестился. Вот что я отметила первым делом. Все, кто входил в этот подвал, крестились, а он нет.

Он протянул руку и, прежде чем я успела отдёрнуться, приложил два пальца к моей шее, под челюстью. Пальцы у него были тёплые и сухие. Он держал их там несколько ударов сердца, глядя куда-то мимо меня, на стену, и шевеля губами. Считал. Я хорошо знала это выражение лица, у меня самой оно бывало на дежурствах по сто раз за ночь.

— Бьётся, — сказал он наконец через плечо монаху с фонарём. — Часто, но бьётся. Где ваш лекарь?

— Брат Гуго? У заутрени был, сейчас... сейчас пошлю...

— Пошли. И пусть затопят грелку. Его нужно наверх, к огню.

Он убрал руку. Я смотрела на него снизу и пыталась понять, кто он такой. Монахом он точно не был: ни тонзуры, ни рясы, да ещё меч на поясе, с простой рукоятью, обмотанной потёртой кожей. Рыцарь? Стражник? Но стражник не стал бы командовать в монастыре, а монахи не стали бы ему подчиняться так быстро. Меч и власть над монахами в моей голове никак не складывались в одну фигуру.

Двое монахов, появившихся с лестницы, подхватили меня вместе с саваном. Я попробовала сказать, что могу сама, но голос не вышел. Меня понесли наверх по узкой каменной лестнице, крутой, с вытертыми посередине ступенями, и каждая ступень отдавалась в затылке. Реми бежал следом и придерживал край савана у меня на груди, не давая ему съехать. Сообразительный мальчик.

Наверху было светлее. Мы прошли под каменной аркой,

и я на мгновение увидела двор: квадратный, серый, затянутый мелкой осенней моросью. По периметру тянулась крытая галерея с толстыми колоннами, посередине чернел колодец с деревянным воротом, а над крышей галереи поднималась громада церкви, тёмная, островерхая, с высокими узкими окнами. Колокол на её башне молчал, но воздух ещё гудел после звона. Пахло мокрой соломой, навозом, дымом и дождём. Пахло так, как не пахнет ни один двор в мире, где я выросла, потому что не было в этом запахе ни бензина, ни асфальта, ни малейшей химической ноты. Чистый, древний, тяжёлый, животный запах.

Меня занесли в низкую дверь под галереей, и навстречу хлынуло тепло.

Это была комната с огромным очагом в торцевой стене, сложенным из камня, почти в человеческий рост. Кто-то уже раздувал в нём угли, подкладывая сухие поленья, и пламя только начинало подниматься. Вдоль стен стояли грубые скамьи, на полу лежал тростник, у очага на крюках висели пустые котелки. Окна здесь были, два, узкие, затянутые чем-то мутным, вроде промасленного пергамента. Грелка, поняла я. В средневековых монастырях отапливали одну-единственную комнату, куда братья заходили погреться зимой. Об этом я тоже когда-то читала и забыла, а память теперь выдавала сведения по одному, по мере надобности.

Меня усадили на скамью у самого огня. Реми притащил откуда-то шерстяное одеяло, колючее, пахнущее овцой и ды-

мом, и закутал меня поверх савана до самого подбородка. Потом сунул мне в руки глиняную кружку с чем-то горячим. Я поднесла её к губам. Разбавленное вино, тёплое, кислое, с привкусом каких-то трав. Я выпила его в несколько глотков, и тепло прошло по горлу и разлилось в груди, а пальцы, державшие кружку, заныли, отогреваясь.

Человек в чёрном стоял у двери и смотрел, как меня отогревают. Он снял плащ и бросил его на скамью, и под плащом оказалась тёмная, почти чёрная котта до колен, подпоясанная ремнём, к которому кроме меча были подвешены кожаный кошель и плоский футляр, похожий на пенал. Из футляра он вытащил несколько листов, стянутых шнурком, маленькую чернильницу с крышкой и перо. Сел на другую скамью, по ту сторону очага, положил листы на колено, откупорил чернильницу. Всё это он проделал молча, неторопливо, ровными движениями человека, который делал это тысячу раз.

Монахи переглянулись и не ушли. Их набилось в грелку человек шесть, и все жались у стен, перешёптывались и смотрели на меня так, как смотрят на двухголового телёнка на ярмарке.

Дверь снова распахнулась, и в грелку вошёл ещё один монах. Он был старше остальных, лет пятидесяти, высокий и сухой, с длинным костистым лицом и глубоко посаженными тёмными глазами. Ряса на нём была такая же серая и грубая, как у всех, но держался он так, что все остальные сразу пе-

рестали шептаться и подались к стенам. Он остановился посреди комнаты, оглядел меня, потом человека в чёрном с его чернильницей, и лицо у него стало ещё длиннее.

— Мессир Тибо де Маркей, — сказал он сухо. — Я не знал, что братья проповедники уже распоряжаются в нашем доме.

— Брат Ансельм. — Человек в чёрном чуть наклонил голову, не вставая. — Я ничем не распоряжаюсь. Я пришёл, как вчера условились, посмотреть на тело ученика брата Роджера, прежде чем его похоронят. Брат Этьен просил известить его обо всём, что касается брата Роджера и его домочадцев. Вы ведь помните.

— Помню. — Брат Ансельм сжал губы. — Тело, как видите, хоронить не придётся. Это дело ордена, мессир, и только ордена. Если в мальчишку вселилось что-то, мы сами позовём того, кто изгоняет. Здесь не место нотариам.

— Позовите, — согласился де Маркей. Он обмакнул перо в чернила, стряхнул лишнее о край чернильницы и поднял глаза. — Изгнание беса из домочадца брата Роджера, совершённое в стенах вашего монастыря. Брат Этьен будет очень рад узнать об этом не от меня, а из чужих уст. Он ведь всё равно узнает, брат Ансельм. Вы знаете, что он всегда узнаёт.

Гвардиан смотрел на него долго. Мне со своей скамьи было видно, как у старого монаха ходят желваки на костистых скулах. Я понимала далеко не всё, но понимала главное: эти двое не любят друг друга, и нелюбовь эта давняя, наслед-

ственная, с обеих сторон, вроде вражды двух кафедр, которые делят один факультет. И ещё понимала, что человек в чёрном только что выиграл, хотя ни разу не повысил голоса.

— Делайте свои записи, — сказал наконец брат Ансельм. — Но мальчишка останется под замком, пока я не решу, что с ним делать. И англичанину я скажу всё, что думаю, когда он явится. Его мастерская — рассадник дьявольщины, я давно говорил. Вот вам и плоды.

Он развернулся и вышел, и ряса хлестнула его по ногам. Монахи у стен облегчённо зашевелились.

— Братья, — сказал де Маркей, не оборачиваясь. — Я благодарю вас за помощь. Теперь оставьте нас. Брат Реми останется. Остальные пусть идут к своим делам.

Они ушли, неохотно, оглядываясь, по одному протискиваясь в дверь. Реми остался. Он встал у двери и прислонился к косяку, сцепив руки на животе, бледный и решительный. Де Маркей кивнул ему, как кивают знакомому, и повернулся ко мне.

— Как тебя зовут?

Вопрос был простой, и я на мгновение растерялась, потому что моё имя, настоящее, вертелось на языке. Но рот опередил меня:

— Жан.

— Полное имя.

Тут я ничего не знала. Рот молчал. Ни фамилии, ни прозвища, ни места рождения. Чужая память, видимо, отдавала

мне язык и молитвы, но не биографию. Я смотрела на нотарию, молчание затягивалось, и он наблюдал за ним с видимым интересом.

— Иоанн, — подсказал от двери Реми. — Его в книгах так пишут. Иоанн, ученик брата Роджера. Он из Англии.

— Пусть сам скажет.

— Не помню, — сказала я.

Это была правда, и я решила держаться правды везде, где это возможно. В моей прошлой жизни у меня был научный руководитель, который говорил, что лгать стоит только там, где тебя невозможно проверить, а всё остальное надо говорить как есть, потому что правду не нужно запоминать. Тогда речь шла о грантовых заявках. Сейчас речь шла, кажется, о костре, но принцип не менялся.

— Не помнишь своего имени?

— Помню, что меня зовут Жан. Вы сами меня так называли, и брат Реми, и мне кажется, что это правильно. Больше ничего не помню. У меня шишка на затылке, мессир. Можете потрогать. После такого удара память иногда отказывает. Это проходит.

— Откуда ты знаешь, что проходит?

Вот тут я поняла, что разговаривать с ним будет трудно. Он ловил не на лжи. Он ловил на знании.

— Я... слышал, — сказала я. — Так говорят.

Он ничего не ответил. Перо побежало по листу, тихо поскрипывая. Он писал быстро и, не отрываясь от письма, про-

говаривал вполголоса, ровно, на латыни, так, как, наверное, проговаривал каждый протокол в своей жизни, чтобы не сбиться:

— Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, die secunda mensis octobris, in crastino beati Remigii, in domo fratrum minorum Parisius...

В лето Господне тысяча двести шестьдесят восьмое, во второй день месяца октября, назавтра после блаженного Ремигия, в доме братьев миноритов в Париже.

Кружка в моих руках дрогнула, и остатки вина плеснули мне на одеяло.

Тысяча двести шестьдесят восьмой. Я поняла все слова сразу, но смысл догонял меня медленно, через несколько секунд, как волна, которая сначала отступает от берега, а потом приходит с другой стороны. Не галлюцинация, не сон, не спутанное сознание после разрыва аневризмы. Галлюцинации не диктуют протоколов с датой в аблативе. Я сидела в Париже, в грелке францисканского монастыря, и на дворе стоял тринадцатый век.

От двери Реми смущённо кашлянул. Блаженный Ремигий, вспомнила я, вчера был его день. Именины. Его именины прошли над моим трупом. А перо тем временем скрипело дальше.

— ...examinatus fuit Iohannes, famulus et discipulus fratris Rogerii dicti Bacon, Anglici, ordinis fratrum minorum...

Допрошен был Иоанн, слуга и ученик брата Роджера, про-

зываемого Бэконом, англичанина, из ордена братьев миноритов.

Я поставила кружку на скамью рядом с собой, очень аккуратно, потому что руки у меня стали ватными.

Роджер Бэкон. *Doctor mirabilis*, удивительный доктор. Оксфорд и Париж, оптика, зеркала, линзы, «Большой труд», написанный в обход запрета собственного ордена по тайной просьбе папы римского. Я когда-то, ещё в аспирантуре, написала про него статью для научно-популярного журнала, обзор истории оптики от Альхазена до Ньютона, и Бэкон занимал в ней две страницы, на которые ушло больше времени, чем на всё остальное. Я тогда влюбилась в него, если можно влюбиться в человека, умершего семьсот лет назад. В его ярость, в его упрямство, в его «опыт удостоверяет всё». Я помнила из той статьи всё до последней сноски, потому что переписывала её пять раз.

И я помнила, что свои труды папе Бэкон посылал с молодым учеником по имени Иоанн. О котором почти ничего не известно. Бедный юноша, которого Бэкон учил несколько лет и которого хвалил в письме папе. Иоанн. Жан. Я была этим Иоанном.

А папа был Климент Четвёртый, бывший юрист, бывший женатый человек, овдовевший и ставший священником. Тот, кто прислал Бэкону мандат. Я помнила дату его смерти, потому что в статье на ней держался весь трагический финал: после этой даты у Бэкона не осталось защитника, и следую-

шие двадцать с лишним лет его жизни прошли под подозрением и надзором. Двадцать девятое ноября тысяча двести шестьдесят восьмого года. Витербо.

Сегодня было второе октября, и я посчитала, не успев запретить себе считать. Двадцать девять дней в октябре до конца месяца, двадцать девять в ноябре. Пятьдесят восемь дней. Восемь недель и два дня.

— Ты побледнел, — сказал де Маркей. Он смотрел на меня поверх листа, и перо замерло над чернильницей. — Хотя куда уж бледнее. Что ты сейчас вспомнил?

— Голова болит, — сказала я. И это тоже была правда, затылок пульсировал. — Простите. От огня кружится.

Он посмотрел ещё немного, потом кивнул, без доверия и без недоверия, просто отметил, и вернулся к листу.

— Вчера, после вечерни, тебя вытащил из Сены лодочник у Малого моста. Тело было без признаков жизни. Брат лекарь осмотрел тебя и не нашёл биения жил. Ты помнишь, как оказался в реке?

— Нет.

— Что ты делал вчера днём?

— Не помню.

— Куда ты шёл?

— Не помню.

Он писал за мной, коротко, по-латыни. Огонь в очаге разгорелся, и пламя гудело в трубе, и от этого гула, тепла и вины на меня начало клонить в сон. Тело, выставшее за ночь на

каменной плите, требовало отдыха так настойчиво, что веки слипались против воли. Я сжала кулак под одеялом, вдавив ногти в ладонь, чтобы не уснуть. Мне нельзя было спать при нём.

— При тебе ничего не нашли, — сказал де Маркей. — Пустой пояс. Ни кошель, ни ножа, ни сумки. Брат Роджер говорил брату Ансельму, что ты должен был нести в город некую вещь. Ты знаешь, какую?

Я знала, что Бэкон посылал папе. Но знать этого не полагалось ни Иоанну с отшибленной памятью, ни кому бы то ни было ещё в этом монастыре, кроме самого Бэкона, потому что мандат был тайным. И если нотариий инквизитора спрашивает о «некой вещи», значит, кто-то за этой вещью следит.

— Нет, мессир. Не помню.

— Твой учитель придёт после мессы. Может быть, при нём вспомнишь.

Он отложил перо, и я решила, что допрос закончен. Но он не стал собирать листы. Он сидел, положив руки на колени, смотрел на меня через огонь и молчал, и молчание было хуже вопросов. Реми у двери переступил с ноги на ногу. В очаге треснуло полено, выбросив сноп искр.

— Брат Реми, — сказал де Маркей, не сводя с меня глаз. — Принеси ему сухую одежду. Из его кельи, или где он там жил, у мастерской брата Роджера. Его одежду. Не рясу.

Реми открыл рот, посмотрел на меня, потом на нотариия, и снова на меня. В его взгляде была паника. Я чуть заметно

кивнула. Если нотариий хотел остаться со мной наедине, он всё равно найдёт для этого способ, и лучше было не давать ему лишнего повода для подозрений.

Реми вышел. Дверь закрылась.

Де Маркей встал, обошёл очаг и сел на мою скамью, на другой её конец, в двух шагах от меня. Не ближе. Он сидел вполоборота, положив руку на колено, и смотрел в огонь.

— Тебе девятнадцать лет, — сказал он. — Так записано в книгах этого монастыря, где тебя кормят из милости брата Роджера. Девятнадцать лет, Иоанн из Оксфорда, сын стекольщика.

Я молчала.

— У мальчиков в девятнадцать лет растёт борода, — продолжил он тем же тоном, каким диктовал протокол. — Не у всех, может быть. Но у всех ломается голос и под кожей на горле появляется хрящ. У тебя его нет. А когда тебя несли по лестнице, саван намок и прилип, и я видел, что у тебя под ним. Полотно, намотанное так, как не мотают на рану.

Он повернул голову и посмотрел на меня. В грелке было тихо. Огонь гудел. Где-то за стеной, во дворе, кто-то тащил ведро, и ведро звякало о камни. Я сидела, закутанная в одеяло, с мокрыми волосами, прилипшими к шее, и понимала, что прятаться больше некуда. Я могла соврать. Могла сказать, что у меня сломаны рёбра, что я ничего не помню, что не понимаю, о чём он. Он бы не поверил, но и доказать сразу ничего бы не смог. Но он мог позвать брата лекаря и велеть

меня раздеть, и тогда врать стало бы уже поздно. Мой научный руководитель был прав: лгать имеет смысл только там, где тебя невозможно проверить.

— Ты мне лжёшь? — спросил он тихо. — Ты не помнишь ни имени, ни дня, ни реки. Это правда, или ты лжёшь?

— Нет, — сказала я. — Не лгу. Я действительно не помню.

Он долго смотрел на меня. Лицо у него было неподвижное, но что-то в нём происходило, я видела, как сузились светлые глаза и как он чуть заметно втянул воздух.

— Тогда это ещё хуже, — сказал он и замолчал так, что я поняла: он проиграл спор, который вёл не со мной.

Я ждала, что он встанет и позовёт монахов. Или выйдет и вернётся с кем-нибудь из своих, людей в чёрном. Или скажет что-нибудь страшное, про ведьм и костры, о которых я сама старалась не думать с тех пор, как услышала дату. Но он не делал ничего. Сидел, смотрел в огонь и потирал большим пальцем шрам на брови, медленно, как будто проверял, на месте ли он.

— Зачем? — спросил он наконец.

Вопрос был короткий, и я не знала на него ответа. То есть знала только то, что видела сама. Мозоли шлифовальщика. Мужская одежда, которую носили так долго, что она стала второй кожей. Ученик великого учёного, которого никто бы никогда не взял в ученики, родился он девочкой.

— Чтобы работать, — сказала я. — У меня руки. Посмотрите на мои руки, мессир. Я умею делать то, что делают ру-

ками. А девушку с такими руками не взяли бы ни в одну мастерскую. И ни в один монастырь.

Он взял мою руку. Просто протянул свою и взял, развернул ладонью вверх, к огню, и посмотрел на пальцы, на мозоли, на плоское затвердение у основания ладони. Держал он её осторожно, как держат вещь, про которую не знают, хрупкая она или нет. Потом отпустил.

— Брат Роджер знает?

Я не знала, знает ли брат Роджер. И это была первая настоящая ложь, которую мне пришлось сказать в этом веке, потому что правды я не знала, а ответить что-нибудь было нужно, чтобы не подставить старика, которого я ещё не видела и уже любила.

— Нет, — сказала я. — Никто не знает.

— Брат Реми знает.

— Брат Реми узнал сегодня утром, когда снимал с меня мокрое. Он ничего не сделал. Он укрыл меня и растёр мне руки, потому что я умирала от холода. Он хороший человек, мессир. Он ни в чём не виноват.

Де Маркей усмехнулся. Это была первая улыбка, которую я у него видела, короткая и невесёлая, одним углом рта.

— Ты просишь за монаха, который тебя раздел, — сказал он, — и не просишь за себя.

— За себя я не знаю, что просить. Я не знаю, что мне грозит.

— Не знаешь? — Он посмотрел на меня с настоящим

удивлением, впервые за весь разговор. — Девица, которая два года живёт в доме братьев миноритов под мужским именем. Которая ходит в штанах вопреки заповеди, что женщине не подобает носить мужского платья. Которая умерла и ожила на следующее утро, и первым делом разговаривает с омывальщиком мёртвых, как лекарь с подмастерьем. Ты правда не знаешь, что тебе грозит?

Я сглотнула. Во рту пересохло, хотя я только что выпила целую кружку.

— Догадываюсь, — сказала я.

— Я служу брату Этьену из ордена проповедников, — сказал де Маркей. — Он инквизитор еретической скверны в королевстве Франции. Я его нотариус. Я записываю то, что говорят обвиняемые, и то, что говорят свидетели. И я обязан сообщить ему обо всём, что увидел и услышал по его делу. Ты понимаешь, что это значит?

— Да, мессир.

— Хорошо. — Он встал и пошёл к своему плащу. Взял его со скамьи, встряхнул, накинул на плечи, сколот у горла пряжкой. Собрал листы, закупорил чернильницу, убрал всё в футляр. Я следила за каждым его движением, ожидая, что он сейчас обернётся и скажет то, что должен сказать. Он не оборачивался до самой двери и только там остановился.

— В том, что я записал, — сказал он, глядя на дверь, — сказано, что Иоанн, ученик брата Роджера, был вытащен из реки, сочтён мёртвым, на следующее утро очнулся и не пом-

нит ничего о случившемся. Это правда. Других вещей я пока не записывал. Я не понимаю, что они значат, а то, чего я не понимаю, я не пишу.

— Пока, — повторила я.

Он повернул голову. В свете очага его лицо было резким, тени лежали под скулами, и шрам на брови белел, как трещина на стекле.

— Пока я не пойму, — сказал он. — Я вернусь. Не пытайся бежать, девица. Тебе некуда, и с такой головой ты не дойдёшь даже до ворот. И не говори больше ни с кем так, как говорила с братом Реми. О лекарях, о жилах, о том, что бывает после удара. Иоанн из Оксфорда, сын стекольщика, не может этого знать.

— А кто может? — вырвалось у меня.

Он помолчал.

— Вот это, — сказал он, — я и хочу понять.

Он вышел, и дверь за ним закрылась. Я сидела у огня и слушала, как его шаги удаляются по галерее, как они затихают и как во дворе, под дождём, кто-то окликает его, а он отвечает коротко и неразборчиво.

Только когда шаги совсем стихли, я заметила, что сижу с закрытыми глазами и что у меня трясутся руки, и на этот раз не от холода. Я спрятала их под одеяло. Пятьдесят восемь дней. В голове крутились цифры, даты, страницы моей старой статьи, и посреди всего этого стоял человек в чёрном с белым шрамом на брови, который знал, кто я, и никому не

сказал. Пока.

Дверь снова открылась, и в грелку протиснулся Реми с охапкой одежды. Он был мокрый от дождя, запыхавшийся, и глаза у него были круглые.

— Ушёл? — спросил он шёпотом.

— Ушёл.

— Что он сказал? Он знает? Жан, это ж инквизитор! Он знает?

— Знает, — сказала я.

И подумала, что он не инквизитор, а нотариус инквизитора, и что для меня эта разница сейчас ровно ничего не значит.

Реми сел на пол там, где стоял, прямо с одеждой в обнимку, и уронил голову на колени. Я смотрела на его тонзуру, на рыжий венчик волос вокруг неё, мокрый и слипшийся, и не знала, как его утешить. Утешить я и себя не могла.

Со двора донёсся шум. Громкий, сердитый мужской голос говорил по-французски с тяжёлым, раскатистым английским выговором, и говорил так, что слышно было, наверное, в соседнем квартале. Ему отвечали другие голоса, тише и примирительнее, но этот голос перекрывал их все, как гроза перекрывает шум леса.

— Где он? — гремел голос. — Где мой мальчик? Ансельм,пусти меня, или, клянусь святым Франциском, я напишу о тебе папе, и папа прочтёт!

Реми поднял голову.

— Магистр, — сказал он. — Это магистр-англичанин. Брат Роджер.

Я смотрела на дверь. Голос приближался, и вместе с ним приближались шаги: быстрые, тяжёлые, сердитые. Сердце у меня колотилось где-то в горле, и я не знала, чего боюсь больше. Того, что он увидит во мне чужую. Или того, что он окажется другим, чем человек, в которого я когда-то влюбилась по книгам.

Глава 3. Подмастерье

Дверь грелки распахнулась так, что Реми, сидевший на полу у порога, едва успел откатиться в сторону вместе со своей охапкой одежды.

В комнату ворвался монах. Именно ворвался, всем телом, плечом вперёд, как врываются в горящий дом, и остановился посреди грелки, тяжело дыша. Ряса на нём была такая же серая, как у всех, но подол её был заляпан грязью до колен, а на груди темнели пятна, прожжённые чем-то едким: я сразу узнала эти рыжие края с чёрной каймой, такие оставляет на шерсти пролитая кислота. Он был невысок, плотен, с широкими плечами и короткой бычьей шеей. Голову ему брили давно, венчик вокруг тонзуры отрос и поседел и стоял щёткой, а на щеках и подбородке пробивалась такая же седая щетина. Лицо красное, обветренное, с крупным носом и тяжёлой челюстью. Глаза маленькие, глубоко посаженные, с красными воспалёнными веками. Глаза человека, который много лет читает и работает при плохом свете.

За ним в дверях маячили брат Ансельм с лицом, вытянутым ещё сильнее прежнего, и ещё один монах, круглый, невысокий, в забрызганной рясе, с глиняной миской в руках.

Монах с прожжённой рясой увидел меня и встал. Он стоял и смотрел, и рот у него приоткрылся, а широкая грудь перестала ходить. Так он простоял, наверное, секунды три, и в

эти три секунды я успела рассмотреть его руки, потому что смотреть ему в лицо было невыносимо. Руки были крупные, с широкими короткими пальцами, все в мелких белых шрамах от ожогов и порезов, а на подушечках указательного и большого пальцев правой руки темнели въевшиеся чернила, которые уже никогда не отмоются.

— Господи, — сказал он хрипло. — Матерь Божья. Святой Франциск.

Он подошёл ко мне в три шага, присел на корточки у скамьи, так что его лицо оказалось вровень с моим, и взял меня за подбородок. Пальцы у него были жёсткие и горячие. Он повернул моё лицо к огню, вглядываясь, и я думала, что он сейчас заплачет или обнимет меня, но он вместо этого протянул назад свободную руку и рывкнул, не оборачиваясь:

— Свечу!

Реми, вскочив, сунул ему свечу, ту, что стояла на полке у очага. Монах поднёс её к моему лицу, слева, близко, так что я почувствовала жар на щеке, и уставился мне в левый глаз. Потом убрал свечу за ладонь, подождал, снова поднёс. Потом то же самое с правым глазом. Я сидела, не шевелясь, и смотрела, как он смотрит, как губы у него сжимаются в нитку и как он кивает сам себе, коротко, удовлетворённо. Он проверял реакцию зрачков на свет.

Я знала эту проверку лучше, чем таблицу умножения. Её делают каждому, кто поступает с травмой головы: если зрачок не сужается на свету или если зрачки разной величины,

значит, плохо дело, внутри черепа что-то давит на мозг. Её делали веками, задолго до нейрохирургии, но её не делал, насколько я знала, ни один монах тринадцатого века, потому что для этого надо было сначала понять, что глаз меняется на свету, а потом догадаться, что эта перемена что-то говорит о голове. А этот человек присел передо мной на корточки и проверил мне зрачки буднично, между делом, как проверяют, заперта ли дверь.

— Сжимаются, — пробормотал он себе под нос по-латыни. — Оба. Одинаково. Хорошо. Хорошо. — И потом по-французски, громко, обернувшись к двери: — Где этот осёл Гуго? Где этот дважды осёл, трижды осёл, который вчера щупал ему жилу и сказал, что он мёртв? Я хочу посмотреть ему в лицо!

— Брат Роджер, — начал от двери Ансельм ледяным голосом.

— Молчи, Ансельм! Молчи, ради всех святых, я сейчас не могу тебя слушать! — Бэкон выпрямился, и свеча в его руке качнулась, плеснув воском на пол. — Вы его чуть не похоронили! Вы сунули живого мальчишку в мертвецкую на всю ночь, на мокрый камень, в октябре! И ты ещё мне будешь говорить о дьявольщине? Это не дьявольщина, это глупость, обыкновенная человеческая глупость, которая на свете встречается куда чаще дьявола и делает куда больше зла!

— Ты забываешься, брат, — сказал Ансельм. — Я гвардиан этого дома.

— Ты гвардиан ослов!

— Роже, — мягко сказал третий монах, тот, что был с миской.

Он сказал это совсем тихо, но Бэкон осёкся и замолчал. Круглый монах шагнул в комнату, обошёл гвардиана бочком, как обходят спящую собаку, и подошёл к нам. Лет сорока пяти, невысокий, полноватый, с мягким, по-детски гладким лицом и светлыми, почти прозрачными серыми глазами. Веки у него были красные и припухшие, нос тоже покраснел, и я вспомнила, что сказал утром Реми: брат Лоран читал над телом всю ночь, и глаза у него были такие, что Реми не смог договорить. Это был он, я поняла сразу.

— Ради мира в доме, Роже, — сказал брат Лоран, улыбаясь Бэкону виновато и ласково, как улыбаются вспльчивому ребёнку, которого любят. — Брат Ансельм не виноват, что Гуго ошибся, а Гуго не виноват, что Господь так устроил замёрзших. Мальчик жив, и это сейчас главное. Остальное подождёт.

Он опустился передо мной на колени, прямо на тростник, и поставил миску мне на колени, поверх одеяла.

— Похлёбка, — сказал он. — Горячая, с кухни, я брату повару сказал, что для тебя, он даже луку не пожалел. Ешь, Жан. Ешь потихоньку, не обожгись.

Он смотрел на меня снизу, и глаза у него наполнились слезами, и одна скатилась по гладкой щеке, а он её не вытирал. Потом он протянул руку и погладил меня по мокрым воло-

сам, неловко, как гладят кошку, которая может и цапнуть.

— Я молился, — сказал он тихо. — Всю ночь молился. Я не просил тебя вернуть, я знал, что так не бывает, я просил только, чтобы тебе там было тепло. А Господь взял и вернул. Видишь, как Он умеет? Мы просим мало, а Он даёт много.

Мне стало так неловко, что я опустила глаза в миску. В ней плавали куски репы и лука в мутном жирном бульоне, и пахло от неё так, что желудок у меня свело. Я взяла ложку, деревянную, с обгрызенным краем, и Лоран отпустил мои волосы и следил за каждым моим движением, кивая, пока я ела. Рука, которой он меня гладил, теперь лежала у него на колене, и я машинально отметила то, что всегда отмечаю у людей: на среднем пальце, сбоку, у верхней фаланги, плотная мозоль и тёмное въевшееся пятно. Мозоль переписчика. Он писал много, годами, по многу часов в день, держа перо так, что оно давило именно на это место. В монастыре, где переписывают книги, это было, наверное, у каждого второго.

Похлёбка была горячая и почти безвкусная, если не считать соли и лука, но мне в жизни не попадалось ничего вкуснее. Я съела половину и только тогда почувствовала, что в грелке тихо и что все смотрят на меня.

— Он ест, — сказал брат Лоран с таким удовлетворением, точно я только что совершила подвиг. — Видишь, Роже? Ест. Мёртвые не едят.

— Мёртвые и не мёрзнут, — буркнул Реми от двери. — Он сам говорил.

Бэкон фыркнул. Вышло смешно, по-лошадиному, и брат Лоран тихонько засмеялся. Даже у Ансельма в углу рта что-то дрогнуло, хотя он тут же поджал губы.

— Мальчишка останется под замком, — сказал гвардиан, и голос у него был уже не такой ледяной. — Я сказал это нотарию и повторяю тебе, Роже. Пока я не пойму, что здесь произошло, он будет сидеть под ключом.

— В погребё? В мертвецкой? Ты хочешь, чтобы он и правда умер?

— Ради мира в доме, — снова сказал брат Лоран, поднимаясь с колен и отряхивая рясу. — Брат Ансельм, а если в его каморке, при мастерской? Там тепло от печи, а ключ будет у вас, и никто, кроме Роже, к нему не войдёт без вашего ведома. Он и так еле сидит, куда ему бежать. А Роже приглядит за ним, как лекарь. Роже ведь лучше Гуго смыслит во врачевании, все знают.

Ансельм посмотрел на Лорана, потом на Бэкона, потом на меня. Он смотрел долго и тяжело, и в этом взгляде не было ни капли тепла. Но было что-то ещё, чего я не поняла: не злость даже, а какая-то усталая тревога. Потом он коротко кивнул.

— В каморке. Ключ у меня. И чтобы никаких твоих стекляшек, Роже, пока он не поправится. Никаких огней и зеркал. Я не хочу, чтобы в моём доме ещё кто-нибудь воскрес.

Он вышел. Брат Лоран потрепал меня по плечу, шепнул «ешь, ешь всё» и поспешил за ним, на ходу что-то тихо и

уговаривающе ему говоря. Дверь осталась приоткрытой, и я слышала их голоса в галерее, пока они не утонули в шуме дождя.

Бэкон стоял посреди грелки, тяжело дыша, с погасшей свечой в кулаке. Он посмотрел на неё с недоумением, словно не понимал, откуда она взялась, и сунул её Реми.

— Ты, — сказал он. — Как тебя. Реми. Это ты его нашёл живым?

— Я, магистр.

— Молодец. — Бэкон полез за пазуху рясы, долго рылся там и наконец вытащил медную монетку, которую сунул Реми в ладонь. Реми покраснел до ушей и попытался отдать монетку обратно, бормоча про обет бедности. — Тогда отдай её нищим у ворот, но сначала поддержи в кулаке и порадуйся. А теперь дай ему одежду. Он сидит в саване, как Лазарь, а Лазарь, насколько я помню, после воскрешения первым делом переоделся.

Реми, путаясь, развернул свою охапку. Там была полотняная рубаха, сухая, чуть пахнувшая дымом, шерстяная котта, такая же, какую с меня сняли в подвале, только другого, коричневатого цвета, шерстяные чулки и старый плащ с капюшоном, подбитый облезлым мехом. Я посмотрела на одежду, потом на Бэкона, и он, заметив мой взгляд, хмыкнул и отвернулся к огню, сложив руки за спиной.

— Одевайся, — сказал он в огонь. — Не буду смотреть. Ты всегда был стыдлив, как девица, я помню. Два года жи-

вём через стенку, а я ни разу не видел тебя без рубахи. Брат Лоран говорил, это от бедности, от того, что стыдишься худобы. Ну так я и не смотрю.

Я застыла с рубахой в руках. Реми у двери выронил монетку, и она звякнула о каменный пол под тростником и укатилась.

Бэкон стоял спиной, широкий, неподвижный, глядя в огонь. Я ничего не могла прочесть по этой спине. Сказал он это просто так, по привычке, как говорят тысячу раз сказанную шутку? Или это была не шутка? Я смотрела на его затылок, на седую щётку вокруг тонзуры, и не знала. И решила, что сейчас не время знать.

Реми встал между нами, растянув за спиной плащ на вытянутых руках, как ширму. Глаза он плотно зажмурил. Я, топясь и путаясь в незнакомых завязках, стянула саван, потом мокрую обмотку с груди. Под ней кожа была красная, в рубцах от тугой ткани, с белыми полосками там, где полотно врезалось сильнее всего. Мокрую обмотку я свернула и сунула под одеяло: заматываться снова было нечем, а при Бэконе я не могла попросить Реми принести сухое полотно. Натянула рубаху, сверху котту, свободную, длинную, до середины бедра, под которой ничего не было видно. Потом чулки. Пальцы всё ещё слушались плохо, и с подвязками я провозилась долго, пока Реми, не открывая глаз, не нащупал их и не завязал мне сам, бормоча покающую молитву.

— Готово, — сказала я.

Бэкон обернулся и посмотрел на меня. Ничего не изменилось в его лице.

— Реми, — сказал он. — Иди за дверь. Стой там и никого не пускай. Скажи, что магистр лечит.

Реми вышел. Бэкон подтащил к очагу вторую скамью, поставил её напротив меня и сел, широко расставив ноги и упёршись ладонями в колени. Мы оказались лицом к лицу, и между нами был только жар огня.

— Ну, — сказал он. — Что ты помнишь?

— Ничего, магистр.

— Совсем?

— Помню, как проснулась... как проснулся в подвале. Помню брата Реми. Всё, что было раньше, ушло.

Он кивнул медленно, жуя губами, и я видела, что ответ ему не нравится.

— Что мы делали на прошлой неделе?

Я не знала.

— Что лежало на большом столе у окна? Какое стекло?

Я не знала.

— Как зовут моего брата в Англии? Как зовут переплётчика, к которому ты ходишь на Малый мост? Сколько стоит фунт квасцов у аптекаря на улице Святого Якова? Что я говорил тебе о радуге, когда мы с тобой мокли в саду в июле?

Я качала головой на каждый вопрос, и с каждым разом лицо у него становилось темнее. Он не злился. Ему было больно, а болеть тихо он не умел. В его вопросах был целый мир,

общий для него и для девушки, которую я заменила: стол у окна, переплётчик, квасцы, радуга в июльском саду. Два года через стенку. И ничего этого больше не было.

— Ничего, — сказал он наконец. — Совсем ничего. Мозги вышибло, как пробку из бочки. Чтоб этого Гуго... Знаешь, что он сказал мне вчера, когда тебя принесли? Он сказал: «У Авиценны сказано, что у мёртвого не бьётся жила. Я щупал, жила не бьётся. Значит, он мёртв». У Авиценны сказано! Как будто Авиценна сидел вчера в мертвецкой и щупал вместе с ним!

— Он не проверил, — сказала я.

Я сказала это раньше, чем решила, говорить или нет. Слова пришли не от той, чьё это тело, они были мои собственные, но язык сам облёк их во французский, и они прозвучали в грелке ясно и отчётливо. Бэкон поднял на меня глаза.

— Что?

Я могла промолчать. Тибо де Маркей, уходя, прямо велел мне молчать о лекарях и жилах. Иоанн из Оксфорда, сын стекольщика, не может этого знать. Но человек передо мной только что проверил мне зрачки на свет, а потом разругал лекаря за то, что тот верит книге больше, чем руке. Я хотела знать, кто передо мной. И я поняла, что есть только один способ это выяснить, и что я всё равно им воспользуюсь, что бы мне ни велели.

— Брат Гуго щупал жилу у человека, которого достали из холодной реки, — сказала я. — Откуда он знает, что у

замёрзшего живого жила бьётся так же, как у тёплого? Он знает, как бьётся жила у тёплого. А у замёрзшего, может, она бьётся так слабо, что пальцы её не слышат. Чтобы сказать «мёртв», ему надо было сначала взять живого, сунуть ему руки в ледяную воду и подержать, пока не посинеют, а потом пощупать жилу. Если и у живого её не нащупать, значит, его пальцам на холоде верить нельзя. Тогда надо ждать, пока тело согреется, и щупать снова. Он сравнил не с тем.

Огонь в очаге гудел. Бэкон смотрел на меня, и его маленькие красные глаза перестали моргать. Он сидел, упершись ладонями в колени, и не шевелился, и мне на мгновение стало страшно, что я наговорила лишнего и сейчас он позовёт обратно Ансельма с его изгнанием бесов.

Но он не позвал. Он медленно, очень медленно убрал одну руку с колена и потёр ею лицо, от лба до подбородка, сильно, так что щетина закрипела под пальцами.

— Experimentum, — сказал он тихо. По-латыни. — Сравнить с тем, о чём заранее знаешь, что оно истинно. Проверить свои пальцы, прежде чем верить им. Положить рядом то, что известно, с тем, что неизвестно, и смотреть, в чём разница.

— Да, — сказала я.

Он помолчал. Потом опустил руку и посмотрел на меня так, как смотрят на уравнение, которое наконец сошлось.

— Ты не то, чем кажешься, мальчик, — сказал он.

Я не стала спорить. Это была первая правда обо мне, кото-

рую мне сказали в этом веке, и спорить с ней было бы глупо. Мы молчали, и я чувствовала, как в груди у меня поднимается то, чего я не ждала. Не страх. Что-то вроде того, что я испытала, когда впервые, на третьем курсе, вывела формулу, которой нет в учебнике, и она оказалась верной. Я знала этого человека по книгам. По его письмам, по его трактатам, по пересказам его мыслей в чужих монографиях. Я написала о нём статью и пять раз её переписывала. И вот он сидел передо мной в прожжённой рясе, красный, небритый, с воспалёнными глазами, и думал так же, как думаю я. Я двадцать лет прожила в мире, где все думают так, где этому учат с первого курса, и всё равно мне было одиноко. А он додумался до этого сам. Один. В мире, где все верили Авиценне.

— Странно, — сказал он наконец, и голос у него снова стал обычным, ворчливым, хрипловатым. — Ты никогда так не говорил. Ты слушал, ты делал, ты шлифовал лучше всех, кого я учил, руки у тебя золотые, и глаз хороший. Но говорить ты не любил. Спросишь тебя что, ты краснеешь и молчишь. А теперь ты говоришь, как магистр на диспуте. — Он почесал щетину на подбородке. — Хотя я слыхал о таком. В Оксфорде был один бакалавр, свалился с лестницы на церковном дворе и разбил себе голову о ступеньку. Три дня лежал как мёртвый. А когда очнулся, забыл, как зовут его мать, зато заговорил по-гречески, которого раньше не знал. Ну, то есть, знал немножко, учил, но говорить не мог, а тут заговорил, как афинянин. Все кричали про чудо и про беса, а я

тогда подумал: может, удар открывает в голове двери, которые были закрыты. Какие-то закрывает, а какие-то открывает. Голова ведь устроена сложнее любого зеркала. Мы о ней ничего не знаем.

Он говорил, и я слушала, и понимала, что он сейчас сам строит себе объяснение. Подбирает факт, который знает, к факту, который видит перед собой, и проверяет, сходится ли. И объяснение сходилось. Ему так было удобнее. Мне тоже.

— Может быть, — сказала я.

— Может быть, — согласился он. — Голову тебе ударили крепко, я видел шишку, когда смотрел глаза. Сзади. — Он замолчал. Лицо у него вдруг стало другим, сосредоточенным и жёстким, и он оглянулся на дверь, хотя дверь была закрыта и за ней стоял Реми. Потом наклонился ко мне через огонь и понизил голос почти до шёпота.

— Жан. Ты совсем ничего не помнишь про вчера? Совсем?

— Совсем.

— Я послал тебя после девятого часа к переплётчику на Малый мост. С пакетом. — Он произнёс это слово так, будто оно было горячим. — Ты должен был отдать пакет мастеру Тома и забрать у него переплетённые тетради. Ты знал, что в пакете. Ты один, кроме меня, знал. Ты помнишь, что в нём было?

Я смотрела в его воспалённые глаза и не отвечала. Я знала, что было в пакете. Я знала это из своей статьи, из книг,

из семисот лет истории, которых он ещё не прожил. Тетради «Большого труда». Или «Малого», или «Третьего». Труды, которые он писал для папы втайне от собственного ордена, нарушая запрет, рискуя всем. Но Иоанн с вышибленной памятью этого знать не мог. А если я скажу, он спросит, откуда я знаю, и мне придётся либо лгать ему, либо говорить правду. Ни к тому, ни к другому я не была готова.

— Нет, — сказала я. — Не помню.

Он прикрыл глаза.

— Мастер Тома прислал сегодня утром своего мальчишку, — сказал он медленно. — Спрашивал, почему я не прислал пакета, как обещал. Он ждал тебя до самого колокола к повечерию. Ты не пришёл. А потом тебя вытащили из реки у того же Малого моста, с разбитым затылком и пустым поясом.

Он открыл глаза и посмотрел на меня, и в этом взгляде больше не было ни радости, ни удивления. Только страх, тяжёлый, взрослый, который он старался держать при себе и не мог.

— Пакета при тебе не было, — сказал он. — Его нет у мастера Тома. Его нет в реке, лодочник там всё обшарил багром, искал твой кошель, свинья такая, думал, что-то найдёт. Его нет нигде.

Я молчала. Огонь трещал, и дождь шуршал по крыше галереи, и где-то во дворе кто-то снова тащил ведро.

— Я думал, ты поскользнулся на мосту, — сказал Бэкон.

— Там, где сходни к лодкам, доски гнилые, я сто раз говорил тебе ходить осторожнее. Думал, упал, ударился, утонул, а пакет унесло течением. Я всю ночь так думал. Я молился, чтобы так было.

Он опустил голову, и я увидела, как дрогнули его тяжёлые плечи.

— А теперь ты живой, — сказал он глухо, глядя в пол. — И шишка у тебя сзади, на затылке. Кто поскальзывается вперёд, тот разбивает лоб.

Я протянула руку и положила её ему на запястье. Это вышло само собой. Может быть, это сделала она, прежняя, может быть, я сама. Запястье у него было горячее, широкое, жилистое, всё в старых шрамах от ожогов.

Он поднял голову и посмотрел на мою руку, лежащую на его руке. На длинные тонкие пальцы, на мозоли шлифовальщика.

— Выходит, это я тебя убил, — сказал он. — Тем, что послал.

Глава 4. Что нашли в реке

Утром третьего октября я проснулась оттого, что у меня болела левая рука.

Боль была тупая, неглубокая, привычная, такая бывает наутро после ушиба, когда кровь под кожей успела растечься и застыть. Я лежала с закрытыми глазами и слушала её, и первые несколько секунд мне было хорошо и спокойно, потому что я не помнила, где нахожусь. Мне снилось, что я в общегитии на Ленинском, мне двадцать лет, и завтра коллоквиум по оптике, к которому я не готова. Потом под окном закричал петух, и я всё вспомнила.

Каморка, в которой меня заперли, была размером с купе поезда. Узкая, длинная, под скатом крыши, так что у дальней стены я не могла бы выпрямиться в полный рост. Постелью служил деревянный короб, набитый соломой и накрытый грубым одеялом, второе одеяло, принесённое вчера Реми, лежало сверху. У изголовья стоял сундук, обитый железными полосами, на нём глиняный кувшин с водой и кружка. На стене висело маленькое деревянное распятие, такое же грубое, как в мертвецкой. Единственное окно было прорезано в торцевой стене, высоко, под самым скатом, узкое, как бойница, и затянута промасленным пергаментом, сквозь который пробивался серый свет. Ещё одна дверь, напротив входной, вела в мастерскую. Она тоже была заперта, но из-

за неё сочилось тепло: там, у общей стены, стояла печь, и камень с моей стороны был тёплым на ощупь. Вчера вечером я долго сидела, прижавшись к нему спиной, и думала.

Думала я о многом, но в основном о цифрах. Пятьдесят восемь дней, теперь уже пятьдесят семь. Пакет, которого нет. Человек, который ударил ту, в чьём теле я лежу, сзади по голове и бросил её в реку. И нотариус инквизитора, который знает, что я девушка, и никому пока не сказал.

Вечером Бэкон приходил дважды. Ключ ему давал брат Ансельм и сам стоял в дверях, пока магистр шупал мне лоб и смотрел зрачки, ворча, что гвардиан торчит над ним, как ворона над падалью. Потом его увели к вечерне, и больше я его не видела. Лоран заглянул один раз, принёс кусок хлеба и сыр, завёрнутые в тряпицу, поцеловал меня в лоб и шепнул, что за меня молится вся братия. Реми приходил дольше всех и сидел на полу у двери, пока брат Ансельм не позвал его с галереи. Мы почти не разговаривали. Реми боялся меня, и я его понимала.

Сейчас было раннее утро. Петух кричал не переставая. Где-то за стеной, во дворе, кто-то колол дрова, мерно и неторопливо, и каждый удар топора отдавался в стене слабой дрожью. Пахло сыростью, соломой и дымом из печной трубы. Я выпростала руку из-под одеяла и подняла её к окну.

На внутренней стороне левого предплечья, чуть выше запястья, проступили синяки. Вчера утром их не было, я бы заметила, я тогда ощупывала себя всю. Синяки вообще ред-

ко видны сразу: нужно несколько часов, а иногда и сутки, чтобы кровь из порванных мелких сосудов пропитала ткани и проступила сквозь кожу. Это было хорошо. Это значило, что вчера, на холоде, при сжатых сосудах, тело ещё не успело выдать того, что с ним делали, а теперь выдавало.

Я поднесла руку ближе к свету и стала смотреть.

Синяков было три, круглых, тёмно-лиловых, размером с фалангу большого пальца каждый. Они лежали в ряд, поперёк руки, на одинаковом расстоянии друг от друга, примерно в ладонь. Между ними тянулась бледная полоса, розоватая, едва заметная, вроде той, что остаётся на коже от тугой резинки. Полоса шла по спирали: я повернула руку и увидела, что она обвивает предплечье почти полностью, от запястья до середины.

Я смотрела на эту спираль, на три круглых пятна, и в голове складывалось то, чего мне совсем не хотелось складывать. Верёвка. Кто-то обмотал мне руку верёвкой, туго, в несколько оборотов, и потянул. На верёвке были узлы, и узлы вдавлились в кожу сильнее, чем сама верёвка, и оставили круглые пятна. Три узла, на равном расстоянии.

Вчера я смотрела на три узла на поясе брата Реми и вспоминала музейный манекен.

Я опустила руку и долго лежала, глядя в скат потолка, на тёмные балки и на паутину в углу. Из этого ничего не следовало. Узлы вяжут на любой верёвке. Три узла, может быть, совпадение. Обычный разбойник мог обмотать руку жертвы

своим поясом, своим, а не монашеским, просто чтобы удержать. Я сказала себе всё это последовательно и разумно, как сказала бы студенту, который слишком рано делает вывод. И всё равно мне стало холодно.

Я встала. Голова закружилась, но не сильно. Шишка на затылке за ночь уменьшилась и стала мягче, под пальцами ощущалась корка, сухая и плотная. Я налила воды из кувшина в кружку, выпила, потом налила ещё и умылась над ведром в углу, которое, судя по запаху, служило здесь всем сразу. Вода была ледяная. Я вытерла лицо подолом рубахи и села на постель.

Мне нужно было осмотреть всё остальное, и сделать это не так, как вчера, в темноте, в панике, на ощупь. Мне нужно было сделать это так, как я сделала бы на работе.

Я осмотрела себя, начиная с головы.

Шишку мне было не увидеть, но я ощупала её пальцами, медленно, по краям, по центру, не торопясь, несколько раз. Удар пришёлся в затылок правее середины, ближе к правому уху. Корка тянулась короткой полоской, наискосок, сверху справа вниз налево, длиной с половину мизинца. Края мягкие, кожа рассечена ровно, как бывает от удара чем-то твёрдым, с ребром. Не камнем, камень оставил бы рваный, звёздчатый след. Чем-то вроде дубинки с гранью. Или рукоятью. Рукоятью ножа, меча, кинжала, всего, у чего есть яблоко с гранями.

Сверху справа вниз налево. Я встала посреди каморки и

попробовала представить. Если человек стоит у меня за спиной и бьёт правой рукой, замахиваясь сверху, удар придётся в затылок справа и пойдёт косо, вниз и налево. Если бы бил левша, было бы наоборот. Если бы бил человек моего роста или ниже, удар пришёлся бы горизонтальнее, а то и снизу вверх. А удар пришёлся сверху. Значит, тот, кто бил, был выше меня. Насколько выше, я не знала, потому что не знала своего нового роста, но вчера, когда меня несли по лестнице, монахи были выше меня почти все, и Тибо де Маркей выше на голову. Значит, это тело невысокое. Значит, ударить его сверху мог почти любой взрослый мужчина.

Это сужало круг ровно до половины Парижа.

Я села обратно и посмотрела на свои руки.

Ногти у этого тела были короткие, неровные, обломанные, как у человека, который работает руками и не следит за ними. Подстригали их, наверное, ножом. Под ногтями было темно. Вчера я этого не заметила, а сегодня, при свете, увидела сразу. Я поднесла правую руку к окну и стала разглядывать.

Под ногтями указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки забились грязь, тёмная, серая, слипшаяся. Речной ил, наверное. Но в этой серой массе, если смотреть внимательно, проглядывало что-то ещё. Я осторожно, ногтем большого пальца левой руки, выковыряла немного из-под ногтя среднего и положила на ладонь. Вытянула, расправила.

Волокна. Несколько тонких, коротких, спутанных волокон, слипшихся с илом. Шерсть. Я узнала её по тому, как она пружинила, когда я её растягивала, и по чешуйчатой поверхности, которую почувствовала, проведя ногтем. И она была окрашена. Не серая, не бурая, не цвета некрашеной овцы, как у всех монахов, которых я видела. Сквозь ил на ладони просвечивал глубокий, насыщенный цвет, синевато-зелёный, как бутылочное стекло.

Я смотрела на эти несколько волокон долго.

Человек, у которого из-под ногтей вычищают шерсть чужой одежды, этой одежды касался. Касался с силой, так, чтобы волокна застряли под ногтем. Цеплялся. Царапал. Та, в чьём теле я лежу, перед тем как её ударили или после, цеплялась за кого-то, на ком была зелёная шерсть.

Я выковыряла всё, что смогла, из-под всех ногтей правой руки, а потом левой. С левой руки ничего не вышло, только ил. С правой я собрала маленький комок, с ноготь мизинца, в котором зелёного было больше, чем серого. Я завернула его в уголок тряпицы, в которой Лоран вчера принёс хлеб, свернула тряпицу в несколько раз и сунула под матрас.

Потом я вспомнила про пояс.

Пояс лежал вчера у меня на коленях, когда я переодевалась, и Реми потом унёс его вместе с мокрыми рубашками, сказав, что развесит у печи. Пустой кожаный пояс с медной пряжкой. Я помнила, что пряжка была старая, гнутая, с острым язычком, который чуть торчал наружу. За такой язычок

могло что-нибудь зацепиться. Мне нужно было его увидеть.

Мне нужна была одежда, в которой меня вытащили из реки, вся, до последней нитки, и мне нужно было поговорить с лодочником, и узнать, где именно он меня нашёл, и что было на мосту, и кто ещё там был. А я сидела под замком в комнате размером с купе, и ключ был у человека, который считал мастерскую моего учителя рассадником дьявольщины.

За дверью послышались шаги, и в замке повернулся ключ.

Это был Реми. Он вошёл бочком, с охапкой одежды в руках, и за ним в дверях на мгновение появился брат Ансельм, оглядел каморку, оглядел меня, сказал Реми «недолго» и закрыл за ним дверь. Ключ снова повернулся в замке.

— Это твоё одежа, — сказал Реми шёпотом, сгружая охапку на сундук. — Та, что сняли. Я развесил у печи в кухне, она высохла. Брат келарь говорил, раз воскрес, пусть сам носит, нечего добро переводить. — Он помолчал и добавил ещё тише: — И полотно принёс. Сухое. Длинное. Я у брата Гуго взял, сказал, для перевязок. Он не спрашивал.

Полотно было свёрнуто в тугой рулон и спрятано внутри шерстяной котты. Я посмотрела на Реми, на его конопатое лицо, на красные от холода уши, и мне захотелось его обнять. Я этого не сделала, только сказала:

— Спасибо.

Он покраснел и уставился в пол.

Я разобрала одежду. Рубахи, полотняная и шерстяная, были высохшие, жёсткие, пахнувшие дымом и рекой. Шер-

стяные чулки. Обмотка, теперь сухая, свёрнутая. И пояс. Я взяла его в руки и повернула пряжку к свету.

На острие язычка висело несколько волокон, сухих, жёстких, слипшихся в маленький комок. Зелёных.

— Реми, — сказала я. — Иди сюда. Посмотри.

Он подошёл и наклонился над пряжкой. Я поднесла её к самому окну.

— Что ты видишь?

Он долго смотрел, морща рыжие брови.

— Нитку, — сказал он наконец. — Зелёную.

— Шерсть, — поправила я. — Крашеную. Вот, смотри. — Я достала из-под матраса свою тряпицу, развернула и показала ему комок из-под ногтей, высохший и посветлевший. — Это было у меня под ногтями. Это то же самое?

Он смотрел то на пряжку, то на тряпицу.

— Такое же, — сказал он неуверенно. — Цвет такой же. Как у сукна на плащах у богатых. Таким не красят то, что носят братья, нам нельзя. Только некрашеное.

— Я знаю, — сказала я. — Поэтому и показываю.

Реми молчал. Он стоял, наклонившись над пряжкой, и я видела, как в его голове медленно, с трудом, поворачивается мысль, которую он не хотел думать.

— Тебя кто-то держал, — сказал он наконец тихо. — Ты за него хваталась.

— Да.

— Не брат.

— Плащ был не монашеский, — сказала я осторожно. — Больше этого я пока не знаю.

Про верёвку и три узла я ему не сказала. Он был францисканец и носил на поясе ровно такую же верёвку. Если бы я показала ему синяки, он бы понял то же, что и я. И тогда он, может быть, перестал бы мне помогать, а может быть, побегал бы к Ансельму. А может быть, ни то ни другое, но мне не хотелось проверять.

— Реми, — сказала я. — Как меня нашли? Расскажи всё, что знаешь. Каждую мелочь. Где, когда, кто, как.

Он рассказал. Говорил он сбивчиво, путаясь и возвращаясь назад, и я слушала, не перебивая, и складывала по кусочку. Лодочника звали Гийо, он держал свою лодку у Малого моста, на левом берегу, со стороны монастыря, и возил людей на остров и обратно, когда мост был забит телегами. Вчера, то есть позавчера, после вечерни, когда уже смеркалось, он возвращался с острова пустой и увидел, что у третьей сваи моста, под самыми досками, что-то болтается в воде. Подогнал лодку, думал, мешок или бревно. А это был человек, зацепившийся рукавом за гвоздь, торчащий из сваи. Голова у него была над водой, лицом вверх, и течение прижимало его к свае и держало.

— Гийо говорит, Святой Христофор тебя держал, — сказал Реми. — Он перевозчик, Гийо, ему Святой Христофор покровитель. Говорит, если б не гвоздь, тебя унесло бы до самого Руана.

— Лицом вверх, — повторила я.

— Он так сказал.

Меня ударили по голове, и я упала в воду без сознания. Человек без сознания в холодной реке тонет за несколько минут, просто потому, что не может держать голову над водой. А я не утонула, потому что рукав зацепился за гвоздь и течение развернуло меня лицом вверх. Слепая удача. Я, которая всю жизнь не верила в удачу и строила исследования так, чтобы ей не оставалось места, выжила благодаря ржавому гвоздю. Вернее, та, другая, почти выжила. Ровно настолько, чтобы её тело дотянуло до утра, а потом в нём проснулась я.

— Лодочник видел кого-нибудь на мосту? — спросила я.

— Когда подплывал?

— Не знаю. Он не говорил. Я не спрашивал.

— А что-нибудь ещё было в воде рядом? Пакет? Сумка? Свёрток в коже?

— Нет. Он багром всё обшарил. Магистр уже спрашивал, и брат Лоран тоже, и мессир нотариий. Ничего не было.

Значит, пакет не упал в воду вместе со мной. Значит, его забрали. Значит, его и хотели.

В замке снова повернулся ключ. Реми отскочил от меня к двери, как ошпаренный, и я быстро сунула пояс под одеяло.

Дверь открылась, и в каморку, пригибаясь под низкой притолокой, вошёл Тибо де Маркей.

За его спиной в галерее мелькнул брат Ансельм с ключа-

ми и тут же пропал. Нотарий закрыл за собой дверь и оглядел каморку: меня на постели, Реми у стены, одежду на сундуке. На нём был тот же чёрный плащ, на этот раз сухой, и та же тёмная котта, и тот же меч на поясе. Лицо у него было утомлённое, словно он не спал ночь, и щёки с подбородком темнели неровной щетиной.

— Брат Реми, — сказал он. — Тебя ищет брат келарь. Что-то про дрова.

Реми посмотрел на меня. Я кивнула. Он выскользнул в дверь, и я слышала, как он бежит по галерее, шлёпая сандалиями.

Тибо постоял у двери, потом сел на сундук, отодвинув в сторону мои рубахи. В каморке сразу стало тесно. Он сидел совсем близко, так что я видела пыль на подоле его плаща, светлую, сухую, и мелкие брызги грязи на сапогах, и видела, что он устал по-настоящему.

— Я был у лодочника, — сказал он. — На рассвете, пока он не уплыл. И на мосту. И у переплётчика, мастера Тома.

Я молчала и ждала.

— Тебя нашли у третьей сваи от левого берега, под мостом, со стороны течения. Ты висел на гвозде. — Он посмотрел на меня. — Ты знаешь, что мост там застроен? На Малом мосту стоят дома. Лавки, мастерские. Сходни к лодкам идут между домами, по узким мосткам. Там темно уже к вечерне, особенно в октябре, а в тот вечер шёл дождь, и лавочники рано закрыли ставни. Лодочник никого на мосту не видел.

Мастер Тома ждал тебя до повечерия у себя в лавке, это четвёртый дом с острова. Ты до него не дошёл. Ты упал в воду не доходя до его лавки. Между вторым и третьим домом есть сходни к лодкам, и с них легко упасть в реку. — Он помолчал. — Или скинуть.

Он говорил обо мне в мужском роде, хотя мы были одни. Я уже открыла рот, чтобы спросить, но тут за стеной, в мастерской, что-то глухо стукнуло, и шаркнули по полу шаги, и я закрыла рот. Стены в этом доме были тонкие, а у нотариуса, похоже, была привычка помнить об этом всегда.

— Скинуть, — сказала я.

Он поднял бровь, ту, что со шрамом.

— Ты вспомнил?

— Нет. — Я откинула одеяло и вытащила пояс. — Но я посмотрела. Вот.

Я протянула ему пряжку. Он взял пояс и повернул к свету, к окну, так же, как я, и я видела, как он наклоняется и щурит глаза, разглядывая зелёный комок на острие язычка. Потом поднял на меня глаза.

— Это было у тебя на поясе?

— Да. Брат Реми высушил пояс у печи, это то, что на нём осталось. А это... — Я развернула тряпицу. — Это было у меня под ногтями. Правой руки. Под указательным, средним и безымянным. Под ногтями левой ничего, кроме ила, не было.

Он взял тряпицу в руки, осторожно, двумя пальцами, как

берут что-нибудь живое. Поднёс к окну, разглядывал.

— Шерсть, — сказал он.

— Крашеная. Синевато-зелёная. Такой цвет дают вайда и потом жёлтая трава поверху, двойное крашение, это дорого. Монахи не носят крашеного. Это плащ или котта, и человек, на котором она была, богат. Или служит у богатого.

Я сказала про вайду и двойное крашение, а потом поняла, что сказала, и прикусила язык. Иоанн из Оксфорда, сын стекольщика, не может этого знать. Тибо посмотрел на меня поверх тряпицы. Ничего не сказал. Только глаза у него на мгновение сузились.

— Такое сукно, — сказал он наконец, медленно, — носят слуги в богатых домах. В домах, где хозяин одевает своих людей в один цвет, чтобы все знали, чьи они. Ливрея. У каноников Нотр-Дам такой нет, они одевают своих в тёмно-красное. У епископа в синее. У магистров университета, кто побогаче, бывает и зелёное. И у купцов, кто держит много людей.

— Значит, вы можете узнать, чьи люди носят такой цвет.

— Могу. Если поспрашиваю. Если сукно не куплено на ярмарке у первого встречного. — Он сложил тряпицу, завернул в неё волокна, снятые с пряжки, и убрал в кожаный кошель на поясе. Потом посмотрел на меня. — Что ещё?

Это «что ещё» было сказано так спокойно и так буднично, как говорят коллеги. Я на мгновение растерялась.

— Удар, — сказала я. — Удар пришёлся в затылок, сзади,

справа, сверху вниз и налево. Рана короткая, с ровными краями. Били твёрдым, с ребром. Не камнем. Чем-то вроде рукояти. Ударил человек, который стоял сзади, был выше меня и держал оружие в правой руке. Я этого не помню, мессир. Я это вижу.

Он молчал, и я видела, что он ждёт, не доверяя ни мне, ни себе. Тогда я сделала то, чего делать не собиралась. Закатала рукав на левой руке и протянула ему.

Он смотрел на синяки долго. На три круглых лиловых пятна, на бледную спираль, обвивающую предплечье. Потом протянул руку и, не касаясь кожи, провёл пальцем над спиралью, от запястья вверх, повторяя её путь.

— Верёвка, — сказал он тихо.

— Да.

— С узлами. Три узла.

Мы оба молчали. Я видела, что он понял то же, что и я. И видела, что он, как и я, не хочет делать вывода раньше времени.

— Верёвка с узлами бывает у кого угодно, — сказал он наконец. — У лодочника. У возчика. У кого угодно.

— Бывает, — согласилась я.

Он поднял глаза от моей руки, и наши взгляды встретились. Мне не нужно было ничего ему говорить. Он тоже видел, как ходят по монастырю серые фигуры с верёвками на поясе. Он медленно опустил мой рукав, сам, двумя пальцами, натянув ткань до запястья.

— Не показывай это никому, — сказал он. — Даже магистру. Даже брату Реми.

— Брату Реми я не показала.

— Хорошо. — Он отодвинулся и сел прямо, упершись ладонями в колени, и я заметила, что это поза Бэкона, и подумала, что у этого века, наверное, свои позы для тяжёлых мыслей. — Пакета нет нигде, — сказал он. — Ни в реке, ни на мосту, ни у переплётчика. Его забрал тот, кто тебя ударил. А ударил тебя не уличный вор, вор не стал бы тащить тело к сходням, он бы перерезал пояс и сбежал. Тебя хотели убить так, чтобы это было похоже на несчастный случай. Мальчишка-подмастерье поскользнулся на гнилых досках в темноте и утонул. Таких мальчишек каждую осень вылавливают из Сены десятками, и никто о них не спрашивает.

— А пакет?

— А пакет унесло течением. — Он посмотрел на меня тяжело. — Все так бы и решили. Если бы не гвоздь.

— Если бы не гвоздь, — согласилась я.

Он молчал, глядя на стену, на маленькое распятие над моей постелью. Потом сказал, медленно, словно каждое слово стоило ему усилия:

— Я говорил тебе вчера, кто я такой. Я нотариус брата Этьена. Брат Этьен уже год приглядывает за твоим учителем. Ему донесли, что брат Роджер пишет что-то, о чём его собственный орден не должен знать, и что это что-то предназначено для глаз очень высокопоставленных. Брату Этье-

ну нет дела до того, что пишет англичанин. Ему есть дело до того, что вокруг этой рукописи начали ходить люди. Ему донесли, что кто-то в Париже ищет списки трудов брата Роджера. Покупает, выменивает, обещает переписчикам деньги за лишнюю копию. Брат Этьен хочет знать, кто это и зачем. Поэтому я был здесь вчера утром. Поэтому я здесь сейчас.

— Значит, это и ваше дело, — сказала я.

Он посмотрел на меня.

— Я надеялся, — сказал он, — что ты поскользнулся. Что это несчастный случай, и я запишу в протокол, что Иоанн упал с мостков и что пакет, который он нёс, утрачен, и закрою это дело, и брату Этьену останется ждать, когда люди, которые ищут списки, проявятся сами. — Он помолчал. — Но ты не поскользнулся. И, похоже, тот, кто тебя ударил, ищет то же самое, что и брат Этьен. Только ищет иначе.

Он встал. Сундук скрипнул под ним, когда он поднимался. Он стоял посреди каморки, пригнув голову под скатом крыши, и смотрел на меня сверху вниз.

— Я поищу, чьи слуги носят зелёное, — сказал он. — И поговорю с теми, кто мог видеть тебя на мосту. Лавочники, торговки, лодочники. Кто-нибудь да видел.

— А мне что делать?

Он помолчал.

— Сидеть здесь, — сказал он. — За запертой дверью. И не показываться никому.

— Почему?

Вопрос был глупый, я поняла это сама, едва он вырвался. Тибо посмотрел на меня так, как смотрят на ребёнка, который спрашивает, почему нельзя трогать огонь.

— Подумай, — сказал он. — Тебя ударили по голове и сбросили в реку, чтобы ты не рассказал, кто и как забрал пакет. Тот, кто это сделал, ушёл с моста спокойный: мальчишка утонул, пакет у него, никто ничего не узнает. А вчера утром мальчишка ожил. И весь монастырь кричал об этом до самой мессы.

Он открыл дверь и обернулся на пороге.

— Кто знает, что ты жив? — спросил он и сам себе ответил: — Весь этот дом. А к вечеру весь квартал.

Глава 5. Мастерская

Бэкон пришёл за мной после полудня, когда дождь кончился и сквозь пергамент на окне пробилося бледное, водянистое солнце.

Я слышала его раньше, чем увидела. Он спорил с кем-то в галерее, громко, сердито, на своём тяжёлом французском, и сквозь стену доносилось через слово «Ансельм», «запрет» и «вред здоровью». Потом всё стихло, ключ заскрежетал в замке, и дверь распахнулась.

— Вставай, — сказал Бэкон с порога. — Хватит лежать. От лежания голова не лечится, а портится. Мозг, как всякий орган, нуждается в упражнении, это ещё Гален знал, хоть и был язычником. Пойдём работать.

За его плечом стоял брат Ансельм с ключами и с выражением человека, проигравшего спор, который он ещё собирается продолжить.

— Под твою ответственность, Роже, — сказал гвардиан. — Только под твою.

— Под мою. Я уже сказал. Под мою, под мою, под мою, сколько раз ещё повторить? — Бэкон махнул рукой, как отгоняют муху, и посторонился, пропуская меня. — Иди, Жан. Не через ту дверь, через эту. В мастерскую.

Ансельм постоял ещё немного, глядя на нас из-под тяжёлых век, потом развернулся и ушёл. Ключи звякали у него на

поясе, пока он шёл по галерее, и я слушала этот звук, пока он не затих.

Бэкон отпер вторую дверь, ту, что вела из моей каморки в мастерскую, и пропустил меня вперёд.

Мастерская была длинная, сводчатая, с тремя высокими окнами по одной стене, и в окнах стояло настоящее стекло. Мутное, зеленоватое, в мелких пузырьках, собранное из маленьких ромбов в свинцовой оплётке, но стекло. Сквозь него солнце ложилось на пол косыми полосами, зелёными по краям. Я остановилась на пороге, и на мгновение у меня перехватило дыхание. Глупо, но так бывает, когда после долгой поездки по чужим городамходишь в лабораторию, похожую на твою.

Внешне она ничем не напоминала мою. В ней не было ни одного прибора, который я бы узнала, ни одного знакомого блеска металла или пластика. Но запах был тот же. Запах работы. Едкий, кислый, с примесью гари, жжёного масла, разогретого металла и сырой глины. Так пахнет любое место, где люди годами пытаются заставить вещество делать то, чего оно не хочет.

Вдоль окон тянулся длинный стол, сбитый из толстых досок и покрытый пятнами, прожжёнными дырами и застывшими каплями воска. На нём стояли и лежали вещи, которые я сначала видела все разом, общей грудой, а потом начала различать. Медные чаши, большие и маленькие, круглые, с гладким выпуклым дном. Стеклянные шары, один разме-

ром с яблоко, другой с голову, наполненные водой, и в каждом шаре, в его водяной глубине, отражалось по маленькому перевёрнутому окну. Кусок полированного металла на деревянной подставке, вогнутый, как чаша, и вокруг него на столешнице чёрные выжженные круги. Зажигательное зеркало, поняла я. Он собирал им солнце в точку и жёг дерево, проверяя, где фокус. Рядом, на подставке из рогов, лежал прозрачный кристалл, длинный и шестигранный, и солнечный луч, проходя сквозь него, ложился на столешницу тонкой радужной полоской.

Я стояла и смотрела на эту полоску и не могла оторваться.

— Что ты встал? — сказал Бэкон у меня за спиной. —

Голова кружится?

— Нет, магистр.

У дальней стены стояла печь, большая, с кирпичным сводом и железной заслонкой, и от неё шло тепло, то самое, что согревало мою каморку. Над печью висели на крюках закопчённые сосуды. У печи, на полках, теснились горшки, кувшины, банки с пробками из воска и тряпиц, свёртки в промасленной коже. На каждом сосуде был нацарапан или написан чернилами знак. Некоторые знаки я узнала, это были старые алхимические символы, которые я помнила по тем же книгам по истории науки: сера, ртуть, соль, купорос. Другие знаки были мне незнакомы.

На втором столе, поменьше, лежали книги. Настоящие, в деревянных переплётах, обтянутых кожей, с медными за-

стёжками. И тетради без переплёта, стопками, перевязанные бечёвкой. И отдельные листы, исписанные плотным мелким почерком, с чертежами на полях: лучи, углы, окружности, отрезки с буквами по концам. Я подошла и, не трогая, наклонилась над верхним листом. Это была схема глаза. Глазное яблоко в разрезе, с хрусталиком, с какими-то оболочками, и лучи от предмета, проходящие сквозь зрачок и сходящиеся внутри. Схема была неправильная, хрусталик стоял не на том месте и лучи сходились не там, но это была схема глаза, нарисованная человеком, который пытался понять, как устроено зрение, по законам прямой линии.

— Не трогай, — сказал Бэкон. — Это для Него. — Он не сказал, для кого, только мотнул головой куда-то на юг, и я поняла, что он имеет в виду папу. Сказал он это шёпотом, и я заметила, как он оглянулся на дверь. — Это переписанное. Черновики, с которых Лоран делал чистовик. Чистовик ушёл. Ты знаешь куда.

Ушёл с пакетом, подумала я. Или не весь? Я хотела спросить, но не спросила.

— Вот, — сказал Бэкон. — Иди сюда.

В углу, у последнего окна, где свет был самый сильный и ровный, стоял ещё один стол, низкий, тяжёлый, на толстых ногах. На нём лежал круглый плоский камень, широкий, как большая сковорода, тёмный, гладкий, с выпуклой серединой. Рядом стояла миска с водой, плошка с чем-то серым, мокрым и зернистым, вроде мелкого песка, и лежало

несколько заготовок. Стеклянные кругляшки, толстые, мутные, размером с монету. И одна почти готовая: прозрачная, с одной стороны плоская, с другой выпуклая, и в ней, если смотреть сверху, увеличивались волокна дерева на столешнице.

— Помнишь? — спросил Бэкон.

Я не помнила.

— Это ты начал, — сказал он. — Две недели назад. Сегмент шара. Я тебе рассказывал, что если взять кусок стеклянного шара, меньше половины, и положить плоской стороной на письмо, то буквы станут больше. Это я давно знаю и писал об этом. Для старых людей, у которых глаза слабеют, вещь была бы бесценная. Старики, которые больше не могут читать, снова смогут. Ты сказал, что сделаешь мне такой, хороший, чистый, без пузырей. Взял лучшее стекло из того, что у нас было. И почти сделал.

Он взял готовую линзу двумя пальцами и поднял к свету.

— Почти, — повторил он. — Здесь вот, по краю, ещё мутно. Видишь? Ты хотел довести до конца, когда вернёшься с моста.

Он протянул мне линзу. Я взяла её. Она была тёплой от солнца и тяжелее, чем я думала, гладкой, прохладной на выпуклой стороне. Я поднесла её к глазу и посмотрела на свою ладонь через неё, и ладонь расплылась, а потом, когда я отвела стекло подальше, стала большой и чёткой, с каждой линией, с каждой мозолью. Край действительно был мутноват.

Узкая полоска шириной с волос, по самой окружности, где стекло недотёрли.

— Доведёшь? — спросил Бэкон. Тихо, и в голосе у него было что-то, чего я раньше не слышала. Он не приказывал. Он просил. Он проверял, не потерялось ли вместе с памятью то, что он ценил в этом мальчике больше памяти.

— Я не помню, как, — сказала я.

— Не помнишь. — Он кивнул. — Ну попробуй. Руки иногда помнят то, что не помнит голова. Это я тоже видел. Кузнец в Илчестере, у которого отнялся язык после удара, не мог сказать, как его зовут, а подкову ковал так же, как раньше.

Я села на табурет перед камнем. Он был мне как раз по росту, это я заметила сразу: высота табурета, высота стола, расстояние до камня, всё было подогнано под это тело. Я положила линзу перед собой и посмотрела на неё, на камень, на плоску с серым песком. Я знала, как это делается, в теории. Знала, что такое шлифовальник и полировальник, что такое абразив, какой формы должна быть поверхность и почему её ведут по камню, а не просто трут. Я рассчитывала такие поверхности в программах и проверяла их интерферометром. Но я никогда не держала заготовку в руке.

Я протянула руку к плоске. Хотела зачерпнуть песок, насыпать его по камню и подумать, что делать дальше.

Рука сделала это сама.

Пальцы зачерпнули мокрый серый абразив, ровно столько, сколько нужно, не больше щепотки, и бросили на камень,

на самую середину. Другая рука плеснула из миски воды, тоже ровно столько, сколько нужно, чтобы песок превратился в жидкую кашу. Потом пальцы правой руки взяли линзу, выпуклой стороной вниз, легли на неё так, как надо, большой палец снизу, средний сбоку, указательный сверху, и мозоли на подушечках встали каждая на своё место. Совпали с краями стекла, как ключ совпадает с замком. И рука повела линзу по камню.

Не просто взад и вперёд. По восьмёрке. Медленно, ровно, с одинаковым давлением, не останавливаясь, по одной петле, потом по другой, и с каждым проходом чуть поворачивая стекло в пальцах, на маленький угол, чтобы оно стиралось равномерно со всех сторон. Я чувствовала, как скрипит абразив под стеклом. Как этот скрип меняется, становится тише и глаже, как ладонь сама слегка ослабляет давление, когда скрип становится слишком тихим, и усиливает, когда слишком громким. Я ничего этого не решала. Я смотрела на свою руку так, как смотрят на чужую, и рука работала.

Пётр Ильич говорил, что с рукой надо договориться. Что первые десять лет ты ею управляешь, а потом она управляет тобой, и это правильно, потому что рука чувствует стекло лучше, чем глаз. Я тогда записала это в блокнот как забавную фразу старого мастера. Теперь я сидела в мастерской тринадцатого века и смотрела, как чужая рука, договорившаяся со стеклом за годы, которых у меня не было, ведёт линзу по камню.

Под рёбрами у меня что-то медленно сжалось и не отпускало. Всё это время, со вчерашнего утра, я думала о теле как о вещи. Как о месте происхождения, о сосуде, в который меня налили. Я осматривала его, ощупывала, делала выводы. А тело, оказывается, было не просто сосудом. Оно умело. Оно знало то, чего не знала я. В нём жила девушка, которая два года шлифовала стекло для этого старика, и её больше не было, а её руки остались и продолжали делать её работу.

Я остановилась. Рука замерла на камне. Я сидела и смотрела на неё, и пальцы у меня дрожали.

— Ну вот, — сказал Бэкон тихо у меня за спиной. Голос у него был хриплый. — Ну вот. Я же говорил. Руки помнят.

Я не обернулась. Я не хотела, чтобы он видел моё лицо.

— Продолжай, — сказал он. — Продолжай, Жан. Ещё немного, а потом вода и полировка на сукне с красной землёй. Ты знаешь.

Я не знала. Но руки знали, и я дала им продолжать.

Работала я, наверное, около часа. Бэкон сначала стоял рядом, потом ушёл к своему столу с книгами и сел там, бормоча себе под нос по-латыни и шурша листами. Солнце сдвинулось по полу, и полосы света стали длиннее и бледнее. Я сменила камень на другой, с более мелким абразивом, потом на кусок сукна, натянутый на деревяшку и пропитанный чем-то красным, и рука повела стекло по сукну, и скрип сменился мягким шелестом. Я перестала думать. Это было странно и почти приятно: в первый раз с тех пор, как я проснулась в

подвале, моя голова не работала, а только смотрела, как работают руки.

Потом в дверь постучали.

Бэкон поднял голову от книг, и лицо у него сразу стало тёмным и неприветливым.

— Кто?

Дверь открылась без ответа. На пороге стоял человек, которого я раньше не видела. Высокий, представительный, лет пятидесяти пяти, в длинном одеянии из тонкой чёрной шерсти, поверх которого была накинута широкая мантия, тёмно-алая, с капюшоном, отороченным мехом. Голова не тонзурированная, но коротко остриженная, седая, с залысинами. Лицо полное, гладко выбритое, с мягкими губами и тяжёлыми веками. Руки он держал сложенными на животе, и на среднем пальце правой руки у него сидел большой золотой перстень с тёмно-красным камнем. В нём была та особенная, неторопливая уверенность, которая бывает у людей, привыкших, что их слушают. Профессор, подумала я сразу. Не по одежде, по осанке. Профессоров я узнаю за версту, у них у всех одна и та же манера стоять в дверях, как будто дверь построили специально для их появления.

— Мир тебе, брат Роджер, — сказал он. Голос у него был звучный, поставленный, привыкший заполнять аудиторию.

— Магистр Гильом, — сказал Бэкон, не вставая. — Чем обязан?

— Я услышал в городе удивительную новость и при-

шёл убедиться. — Магистр Гильом шагнул в мастерскую и огляделся, не скрывая брезгливого любопытства. Взгляд его скользнул по стеклянным шарам, по зажигательному зеркалу, по полкам с банками и остановился на мне. — Говорят, твой ученик воскрес из мёртвых. Весь Малый мост только об этом и судачит. Лодочник, говорят, клянётся, что сам святой Христофор держал мальчика за рукав.

Он улыбнулся мне, и я улыбнулась в ответ, потому что не знала, что ещё сделать.

— Его вытащили из реки замёрзшим, — сказал Бэкон, — и наш лекарь, который лечит по Авиценне, принял его за мёртвого. Вот и всё воскресение. Никакого чуда, Гильом, обычная глупость.

— Ну, ну, — сказал магистр мягко. — Не стоит так легко отказываться от чудес, брат. Чудеса укрепляют веру простецов. — Он подошёл ко мне ближе, остановился в двух шагах и наклонился, разглядывая меня. Пахло от него розовой водой и чем-то сладким, вроде засахаренного аниса. — Как ты себя чувствуешь, дитя?

— Хорошо, магистр. Спасибо.

— Голова не болит?

— Немного.

— Говорят, ты ничего не помнишь. Совсем ничего. Ни как упал, ни кто был рядом.

— Ничего, магистр.

Он смотрел на меня из-под тяжёлых век ещё мгновение.

Потом выпрямился и вздохнул с видимым сочувствием.

— Бедное дитя. Может, это и к лучшему. Есть вещи, которые лучше не помнить. — Он повернулся к Бэкону. — Я, собственно, зашёл ещё по одному делу, брат. Ты слышал, что в капитуле обсуждают твою последнюю проповедь братьям? Ту, где ты говорил, что богословы, не знающие греческого и еврейского, толкуют Писание, как слепые толкуют цвета.

— Слышал, — сказал Бэкон. — И могу повторить, если в капитуле не расслышали.

— Не нужно. — Гильом улыбнулся. — Ты ведь знаешь, брат, что мудрость, не умеряемая смирением, оборачивается против своего обладателя. Соломон говорит об этом в Притчах прямо: «*Qui addit scientiam, addit et laborem*». Кто умножает знание, умножает труд.

Бэкон поднял голову от книг. Лицо у него медленно налилось краской, от шеи до лба, и маленькие глаза сузились.

— Не в Притчах, — сказал он.

— Прости?

— Не в Притчах. В Экклезиасте, глава первая, стих последний. Соломон написал обе книги, но ты путаешь одну с другой, потому что цитируешь по сборнику выписок. А в еврейском там вообще стоит «скорбь», но этого ты тем более не знаешь. — Бэкон встал из-за стола, тяжело, опираясь кулаками о столешницу. — Вот об этом я и говорил в проповеди, Гильом. Вот именно об этом. Ты двадцать лет учишь студентов богословию и не открывал Вульгату с тех пор, как сам

был студентом. Ты цитируешь Писание по сборникам выписок, которые переписывали с ошибками десять поколений переписчиков, и тебе всё равно, что там написано, потому что ты никогда не проверяешь. И при этом ты учишь, как толковать Писание! А если ты ошибаешься в том, что можно проверить за минуту, открыв книгу, то чего стоят твои толкования того, чего проверить нельзя?

В мастерской стало тихо. Я сидела, не дыша, с линзой в руке. Магистр Гильом стоял неподвижно, и на его гладком лице ничего не изменилось, только тяжёлые веки опустились чуть ниже, а мягкие губы чуть плотнее сжались. Перстень на пальце поймал солнечный луч и вспыхнул тёмно-красным.

— Ты всегда был груб, брат Роджер, — сказал он наконец ровно. — Это твой главный недостаток. Ты думаешь, что истина оправдывает грубость. Но истина без любви ничего не стоит. Апостол говорит об этом.

— Апостол говорит, что любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, — сказал Бэкон. — Первое послание к Коринфянам, тринадцатая глава. Можешь проверить.

Гильом посмотрел на него ещё мгновение. Потом коротко поклонился, повернулся ко мне и улыбнулся снова, мягко и ласково.

— Поправляйся, дитя, — сказал он. — Береги голову. И береги своего учителя. У него очень много врагов, а он, бедняга, сам не понимает, откуда они берутся.

Он вышел. Мантия прошуршала по порогу, дверь закры-

лась. Через стекло окна я видела, как он идёт через двор, неспешно, с прямой спиной, придерживая полу мантии над лужами. У ворот его ждал человек в плаще с поднятым капюшоном, высокий, широкоплечий. Лица я не разглядела, и цвета плаща тоже: двор лежал в тени, и всё, что было в тени, выглядело одинаково тёмным. Человек подал магистру руку, помогая перешагнуть через лужу у порога, и они вместе скрылись за воротами.

— Осёл, — сказал Бэкон в тишине. Он сел обратно за стол и уронил голову на руки. — Учёный осёл в алой мантии. В Притчах. Боже милостивый. В Притчах.

Я положила линзу на сукно.

— Магистр, — сказала я. — Кто он?

— Гильом де Монсо. Магистр богословия. Читает в университете, на улице Соломы. Каноник где-то, бенефиций у него, два бенефиция, денег куры не клюют. Он меня ненавидит. Я его тоже, но я хотя бы честно. — Бэкон поднял голову. — Он пришёл посмотреть на тебя. Ты понял? Он не ради проповеди пришёл. Про проповедь он мог мне сказать на капитуле. Он пришёл посмотреть на тебя.

Я поняла. Я поняла это раньше Бэкона, ещё когда Гильом наклонился ко мне и спросил, помню ли я, кто был рядом на мосту. Но я не знала, что из этого следует. Человек, которого Бэкон публично называл невеждой, пришёл посмотреть на воскресшего ученика своего врага. Может быть, из злорадного любопытства. Может быть, нет.

Дверь снова распахнулась, на этот раз без стука, и в мастерскую влетел брат Ансельм. Он был красный, запыхавшийся, с ключами в кулаке, и он не смотрел ни на Бэкона, ни на меня. Он смотрел на стол передо мной. На камень, на плоску с абразивом, на линзу на красном сукне.

— Я говорил тебе, Роже, — сказал он тихо, и от этой тишины мне стало хуже, чем от крика. — Я говорил тебе вчера. Никаких стекляшек. Никаких огней и зеркал. Ты обещал.

— Это не огонь, Ансельм. Это шлифовка.

— Мне всё равно, что это! — Гвардиан шагнул к столу. Ключи в его кулаке звякнули. — Ко мне только что приходил магистр Гильом де Монсо, каноник, магистр богословия, и спросил меня, правда ли, что в нашем доме воскрешают мёртвых при помощи стёкол и зеркал. Спросил вежливо. С улыбкой. Ты понимаешь, что это значит? Ты понимаешь, что он завтра расскажет это в капитуле, послезавтра в университете, а через неделю это дойдёт до брата Этьена в монастыре Святого Иакова, и он придёт сюда не со своим нотарием, а сам?

Он смотрел на Бэкона, и у него дрожал подбородок.

— Ещё раз, — сказал он. — Ещё один раз я увижу здесь огонь, стекло или зеркало, пока этот мальчишка не уедет из моего дома или не будет похоронен, и я сожгу всё это. Всё, Роже. Твои стекляшки, твои шары, твои банки и твои тетради. Я сам сложу костёр во дворе и сам поднесу факел. И пусть меня потом судит генеральный капитул.

Он развернулся и вышел, не закрыв за собой двери. Мы сидели и слушали, как он уходит по галерее.

Бэкон встал, подошёл к двери и закрыл её. Постоял у неё, держась за ручку.

— Он может, — сказал он, не оборачиваясь. — Ты думаешь, это пустая угроза. А он может. Он упрямый, как мул, и ненавидит всё, что не понимает. Я десять лет живу с ним под одной крышей.

Вечером Реми принёс ужин. Солнце к тому времени давно село. В мастерской было темно, только печь светилась красным сквозь щели заслонки, и на столе у Бэкона горела одна свеча. Сам Бэкон ушёл к повечерию и не вернулся: его задержал кто-то из братьев. Меня он оставил в мастерской, а не в каморке, сказав, что у печи теплее, и что Ансельм пусть только попробует запереть его ученика в холодной конуре после того, как тот проработал полдня. Ключа у Бэкона не было, но дверь в галерею он закрыл и подпёр табуретом изнутри. Реми, чтобы войти, пришлось стучать и ждать, пока я этот табурет отодвину.

Он вошёл с двумя мисками в руках, держа их осторожно, чтобы не расплескать, и с ломтём хлеба под мышкой. Миски были деревянные, одинаковые, тёмные от старости, с похлёбкой. От неё шёл пар.

— Это тебе, — сказал Реми, ставя одну миску на край стола передо мной. — А эта мне. Я с тобой поем, можно? Брат келарь разрешил, сказал, раз ты болен, тебе одному есть

нельзя, вдруг поплохее.

Он сел на табурет напротив, пододвинул к себе свою миску, перекрестился и принялся есть. Я смотрела на него и чувствовала, как сосёт под ложечкой: с утра я съела только остатки хлеба и сыра, которые накануне принёс Лоран. Я взяла ложку.

В дверь снова постучали, коротко, дважды. Реми, не выпуская ложки, вскочил и отодвинул табурет. На пороге стоял Тибо.

— Брат Ансельм дал мне ключ от галереи, — сказал он, входя. — Нехотя. Я сказал, что пришёл по делу брата Этьена. Это была правда. — Он закрыл дверь за собой и снова подпёр её табуретом, оглянулся на меня. — Ты ешь. Я подожду.

Он сел на скамью у печи, вытянул ноги и откинулся спиной к тёплой стене. Лицо у него было усталое и замёрзшее, и он прикрыл глаза.

Я поднесла ложку ко рту и остановилась.

Сначала я даже не поняла почему. Ложка застыла у самых губ, и рука замерла, и я сидела так, не понимая, что меня остановило. Потом поняла. Запах. От похлёбки пахло так же, как от той, которую вчера утром принёс Лоран: репа, лук, соль, сало, дым. Но под этими запахами, в самой глубине, был ещё один, слабый, едва различимый, неприятный, затхлый, сладковато-гнилой. Как пахнет в старом сарае, где завелись мыши.

Я опустила ложку в миску и наклонилась ниже. Понюхала.

Запах был. Слабый, но был.

— Реми, — сказала я. — Дай мне твою миску.

Он посмотрел на меня с удивлением, с полной ложкой у рта.

— Зачем?

— Дай.

Он пожал плечами и пододвинул мне свою миску. Я наклонилась над ней и понюхала. Репа, лук, соль, сало, дым. И ничего больше: ни сарая, ни мышей.

Я снова наклонилась над своей. Сарай. Мыши.

— Мессир, — сказала я.

Тибо открыл глаза. Он посмотрел на меня, и что-то в моём лице, видимо, заставило его сесть прямо.

— Что?

— Понюхайте. — Я пододвинула к нему обе миски по краю стола. — Сначала эту. Потом эту.

Он встал, подошёл, наклонился над мисками. Сначала над миской Реми, потом над моей. Потом снова над миской Реми. Лицо у него стало сосредоточенным, но я видела, что он ничего не чувствует.

— Похлёбка, — сказал он.

— В моей пахнет мышами. Слабо, но пахнет. В его нет.

Он понюхал снова. Нахмурился.

— Может быть, — сказал он неуверенно. — Не знаю. Мне кажется, обе пахнут одинаково.

Реми смотрел на нас, на миски, и ложка у него в руке опу-

стилась.

— Мне нужен свет, — сказала я. — И стекло.

Я встала, взяла свечу со стола Бэкона и поставила её между мисками. Потом взяла с сукна недоделанную линзу, ту, которую шлифовала днём. Набрала в свою ложку немного похлёбки из моей миски, вылила её на чистый угол стола, отдельной лужицей. Потом то же самое из миски Реми, на другой угол, подальше. Поднесла линзу к первой лужице.

Сквозь стекло всё увеличилось. Мутный жирный бульон, кусочки разваренной репы, лук. И среди всего этого, плавающая на поверхности и застряв в волокнах репы, мелкие, тёмные, зеленоватые клочки. Не лук. Не капуста. Измельчённые листья, мелкие-мелкие, мельче, чем режут для еды. И между ними несколько маленьких продолговатых семечек, серовато-бурых, с тонкими продольными рёбрышками, похожих на семена укропа или аниса.

Я перевела линзу на вторую лужицу. Репа, лук, жир. Ни клочков, ни семечек.

— Смотрите, — сказала я и протянула линзу Тибо. — Сначала эту. Потом эту.

Он взял стекло, неловко, двумя пальцами, как брал утром тряпицу с шерстью. Наклонился над первой лужицей, долго смотрел, потом над второй. Я видела, как напряглись у него скулы.

— Трава, — сказал он. — Какая-то трава. И семена.

— В моей миске. А в его нет. Обе из одного котла, мессир.

Реми, обе из одного котла?

— Из одного, — прошептал Реми. — Я сам видел, брат повар разливал.

— Где ты взял миски?

— На окне кухни. Там, где для больных ставят. Брат повар ставит на окно, а мы забираем. Твою и мою он поставил вместе, я видел, как он ставил, а потом я пошёл к колодцу за водой для магистра, а когда вернулся, они стояли на окне, и я их забрал.

— Долго ты ходил к колодцу?

— Не знаю. Недолго. Пока ведро набрал, пока принёс.

— Кто был во дворе?

Реми задумался.

— Брат Матье шёл в церковь. Двое послушников несли дрова. Брат Ансельм... брат Ансельм стоял у кухни, у самого окна. Я ещё подумал, чего это он там стоит, он же никогда не ходит к кухне сам.

Мы молчали. Я видела, что Тибо смотрит на меня, и смотрит так, как не смотрел раньше. Я отвернулась от него и снова занялась делом, потому что так было легче.

— Мне нужен щёлок, — сказала я. — У магистра на полке должен быть. Поташ, зола, что-нибудь едкое. Реми, ты знаешь, где он держит?

Реми, бледный, поднялся, подошёл к полкам у печи, долго водил пальцем по банкам и наконец снял одну, глиняную, с пробкой из тряпицы, с нацарапанным на боку знаком.

— Этот? Он из него руки моет, когда чернила не отходят.

Я вынула пробку. Пахнуло едким. Я взяла соломинку из подстилки на полу, обмакнула её в банку и капнула по капле в обе лужицы на столе, сначала в лужицу из миски Реми, потом в мою.

Из лужицы Реми пахнуло щёлоком и жиром. И больше ничем.

Из моей пахнуло мышами. Сильно, отчётливо, так, что не нужно было наклоняться. Затхлый, сладковатый, гнилой запах мышинового гнезда поплыл над столом и ударил в нос, и Реми, стоявший рядом, отшатнулся и зажал рот ладонью.

Тибо не отшатнулся. Он стоял и смотрел на лужицу, потом на меня.

— Это что? — спросил он тихо.

— Я не знаю, как вы это называете, — сказала я. — Трава, которая растёт у канав и на пустырях. Высокая, с белыми зонтиками, похожая на дикую морковь, только стебель в красных пятнах. Её листья и семена так пахнут, если их растереть, а если капнуть щёлоком, запах становится сильнее. От неё сначала немеют ноги, потом руки, потом становится трудно дышать, а голова до самого конца остаётся ясной.

Я говорила, а сама думала: болиголов. Чашка цикуты, которую выпил Сократ. Я читала про неё в учебнике токсикологии, и в «Федоне», и ещё раз в какой-то статье про судебную химию девятнадцатого века, где эту самую пробу со щёлоком описывали как простейший способ заподозрить

отравление.

— Мне не нужно знать её имени, — сказала я. — Мне нужно было знать только одно: есть ли в моей миске то, чего нет в миске Реми. Обе миски из одного котла, обе стояли на одном окне. Если они отличаются, значит, в одну из них что-то положили отдельно. Если от щёлока одна пахнет, а другая нет, значит, это что-то есть в той, что пахнет. Не надо знать, как зовут отраву, чтобы знать, что она есть. Надо положить рядом то, про что известно, что оно чистое, и посмотреть, в чём разница.

Я замолчала. В мастерской было тихо, только печь потрескивала за заслонкой. Реми стоял, прижав руку ко рту, и глаза у него были огромные. Тибо стоял неподвижно и смотрел на меня.

Я ждала, что он скажет: откуда ты знаешь про траву с белыми зонтиками? Откуда ты знаешь, что от неё немеют ноги? Откуда Иоанн из Оксфорда, сын стекольщика, знает, как пахнут мыши от щёлока? Я ждала этого вопроса и знала, что мне нечего на него ответить. Я уже рассказала больше, чем следовало, гораздо больше. Но мышиный запах ещё висел над столом, и я думала о ложке, которая застыла у моих губ.

Он не спросил. Подошёл к столу, взял мою миску в руки и долго смотрел на неё. Потом поставил обратно. Потом повернулся ко мне, и я увидела его лицо в свете свечи, близко, усталое, с тёмной щетиной на щеках и с белым шрамом на брови. И я увидела в этом лице то, что не видела вчера ни в

грелке, ни сегодня утром в каморке. Он больше не пытался понять, лгу я или нет. Он уже понял.

— Ты не лжёшь, — сказал он. Не спросил, сказал.

— Нет.

Он медленно кивнул.

— Ты действительно знаешь всё это. Про траву, про щёлок. Ты знаешь, и ты не выдумываешь. — Он помолчал. — Я не знаю, откуда. И не буду спрашивать. Сегодня не буду.

Он взял миску, завернул её в свой плащ, снятый со скамьи, аккуратно, чтобы не пролить, и сунул свёрток под мышку.

— Это я заберу, — сказал он. — Для брата Этьена. Брат Реми, ты сейчас пойдёшь со мной, покажешь мне окно кухни, где стоят миски для больных, и расскажешь брату Этьену, если он спросит, кто был во дворе. Не бойся. Ты ничего плохого не сделал.

Реми кивнул, не отнимая ладони от рта.

— А мне что делать? — спросила я.

Тибо посмотрел на меня. Потом на дверь, подпёртую табуретом. Потом на печь, на скамью у печи, на мою каморку за открытой второй дверью.

— Тебе, — сказал он, — сегодня не придётся быть одному. Я провожу Реми, потом вернусь. Я ночую здесь.

— Брат Ансельм будет против.

Тибо надел плащ на плечи, придерживая под ним свёрток с миской, и посмотрел на меня с тем самым коротким, неве-

сёлым движением угла рта, которое я уже начала узнавать.

— Брат Ансельм, — сказал он, — сегодня будет против очень многого.

Глава 6. Тайник Жанны

Тибо вернулся, когда в монастыре уже отзвонили к повечерию и всё стихло. Я слышала, как он стучит, дважды, коротко, и как Реми шёпотом говорит с той стороны: «Это мы». Я отодвинула табурет. Реми вошёл первым, бледный, с красными ушами, сунул мне в руки ломоть хлеба и кусок холодной варёной репы, завернутые в тряпицу, и прошептал: «Это я сам взял с кухни, своими руками, при мне брат повар резал». Потом посмотрел на Тибо, на меня, перекрестился и ушёл. Тибо закрыл за ним дверь и подпёр её табуретом.

— Брат Ансельм сказал, что я оскверняю его дом, — сообщил он, снимая плащ. — Я сказал, что брат Этьен будет рад узнать, что в его доме едва не отравили свидетеля. Он больше ничего не сказал.

— А миска?

— У меня. — Он положил на скамью свёрток. — Завтра отнесу брату Этьену. Ешь.

Я съела хлеб и репу, сидя на краю стола, а он смотрел, как я ем, ничего не говоря. Потом он подбросил в печь два полена, сел на скамью у печной стены, отстегнул меч и положил его рядом с собой, на скамью, так, чтобы рукоять была у правой руки. Откинулся затылком к тёплому камню и закрыл глаза.

— Иди спать, — сказал он, не открывая глаз. — В свою

каморку. Дверь не закрывай.

Я ушла в каморку и легла на соломенный тюфяк, под два одеяла, и лежала, глядя в темноту, в скат потолка, которого не было видно. Дверь в мастерскую осталась открытой, и из неё падал на пол слабый красноватый отсвет от печи. Я слышала, как трещат поленья, и как Тибо дышит, медленно, ровно. Он заснул почти сразу, как засыпают люди, привыкшие спать где придётся. Я слушала его дыхание и думала о том, что меня охраняет нотариус инквизитора, обязанный довести на меня своему хозяину, и что никогда в жизни я не чувствовала себя в такой безопасности. Мысль была глупая и неправильная. Я её отложила.

Сон не шёл. Тело устало до звона, но голова работала, перебирала, сравнивала, не могла остановиться. Пятьдесят семь дней, а с рассветом пятьдесят шесть. Мыши в похлёбке. Три узла на моём предплечье. Брат Ансельм у кухонного окна. Мягкий голос магистра Гильома: есть вещи, которые лучше не помнить, дитя. И пакет, которого нет нигде.

Я повернулась на бок, лицом к стене. Стена была тёплая, от печи, и я прижалась к ней ладонью.

И тогда рука сделала то, что, видимо, делала каждую ночь. Пальцы скользнули по камню вниз, к самому полу, туда, где стена встречалась с краем короба, на котором я лежала. Нашупали щель. Прошли вдоль неё влево, на ладонь, на две. Остановились у одного из камней кладки, небольшого, плоского, размером с книгу. Коснулись его края, привычно, лег-

ко, и надавили. Камень чуть подался и шевельнулся в гнезде. Рука замерла на нём. Поддержала. Потом отпустила и вернулась на одеяло, успокоенная, как возвращается рука, которая проверила, на месте ли кошелёк.

Я лежала и не дышала. Это была не моя привычка. У меня никогда не было тайников. Я с детства жила в маленьких квартирах, где всё было на виду, и прятать мне было нечего, разве что дневник в третьем классе, который я держала под матрасом и который нашла мама. А эта рука каждую ночь, перед сном, тянулась к одному и тому же камню и проверяла, что он на месте.

Я подождала, пока Тибо в мастерской задышит глубже. Потом тихо сползла с тюфяка на пол, на колени, и в темноте нащупала тот же камень. Он шатался. Я подцепила его край ногтями, раскачала, и он вышел из гнезда легко, без шума. За ним была пустота, глубокая, сухая, в которую уходила рука по самый локоть. И в этой пустоте лежал свёрток.

Я вытащила его. Он был мягкий, лёгкий, обёрнутый в промасленную кожу и перевязанный бечёвкой. Я встала с колен, держа его в руках, и вышла в мастерскую.

Тибо спал на скамье, откинув голову к стене. Лицо у него во сне стало моложе, складка у рта разгладилась, и только шрам на брови белел в красном свете печи. Рука лежала на рукояти меча. Я прошла мимо него на цыпочках, к столу у окна, где днём шлифовала линзу. На столе стояла свеча, погашенная, и рядом огниво. Я долго возилась с ним, обди-

рая пальцы о кремь, пока не высекла искру на трут и не раздула огонёк. Свеча зажглась. Я загородила её ладонью от Тибо и села.

Бечёвка была завязана сложным узлом, и мои пальцы, то есть её пальцы, развязали его сами, не задумываясь. Кожа развернулась.

Внутри лежало несколько вещей, аккуратно, каждая на своём месте.

Сверху лежал небольшой мешочек из мягкой замши. Я развязала его и вытряхнула на ладонь содержимое. Маленький железный напильник, плоский, с деревянной ручкой, вытертой пальцами до блеска. Медный кронциркуль, крошечный, с тонкими ножками и винтиком сверху, тоже вытертый. Палочка чёрной смолы, обмотанная тряпицей. Кушечек тонкой мягкой кожи, сложенный вчетверо, пропитанный чем-то красным. Плоский камешек, серый, мелкозернистый, с одной стороны гладкий как стекло. И ещё одна линза, маленькая, совсем маленькая, размером с ноготь, двояковыпуклая, прозрачная, без единого пузырька. Я поднесла её к свече и посмотрела сквозь неё на свой палец, и палец стал огромным, как бревно, с каждой бороздкой кожи.

Инструменты мастера. Не новые, не купленные. Старые, рабочие, которыми пользовались годами. Ручка напильника была вытерта не под мою руку, не под эту, а под чью-то другую, бóльшую, и только поверх старой выемки шла новая, поуже. Кто-то работал этими инструментами задолго до неё,

а потом они достались ей.

Под мешочком лежала тетрадь. Несколько листов пергамента, сложенных пополам и сшитых посередине ниткой. Я открыла её и увидела почерк. Мелкий, ровный, аккуратный, круглый, с наклоном вправо, совсем не похожий на размашистые каракули Бэкона, которые я видела днём на его черновиках. Текст был на латыни. Я пробежала глазами первую страницу, потом вторую, и сердце у меня застучало.

«De multiplicatione specierum». «Perspectiva». О распространении образов. Перспектива, оптика. Пятая часть «Большого труда». Я знала её содержание, я пересказывала его в своей статье, абзац за абзацем, по английскому переводу двадцатого века. Здесь был латинский текст, не весь, но много, страница за страницей, переписанный этим ровным круглым почерком. С чертежами на полях, аккуратными, по линейке, с буквами у концов отрезков. Схема глаза, та же, что я видела днём у Бэкона, только перерисованная тщательнее. Лучи, проходящие через сегмент шара. И на одном из листов, на полях, рядом со строкой, где Бэкон писал о стёклах, помогающих старикам читать, крошечная пометка тем же почерком, по-французски: «сделать для магистра, лучшее стекло».

Она переписывала его трактат себе. Для себя. Чтобы учиться. Тайком, ночами, при свече, в каморке размером с купе, а потом прятала в стену, потому что подмастерью не полагалось читать то, что пишется для папы. Это была копия.

Неполная, рабочая, ученическая. Но копия. Если чистовик пропал с пакетом, то вот эти листы, может быть, единственное, что осталось от пятой части, кроме черновиков Бэкона на столе.

Под тетрадью лежали ещё два листа, отдельно. Один был сложен вчетверо, потрёпан на сгибах так, что сгибы почти протёрлись насквозь, и запечатан когда-то воском, от которого остался только бурый след. Второй был маленький, обреза, клочок пергамента размером с ладонь, исписанный тем же круглым почерком.

Я развернула сначала большой.

Это было письмо. По-французски, но не тем французским, который я слышала вокруг. Другим, мягче, с непривычными окончаниями, нормандским, наверное, или пикардийским. Почерк был крупный, неуклюжий, с наклоном в разные стороны, с кляксами, человека, который писал редко и с трудом и держал перо так, как держат инструмент, слишком сильно. Буквы местами были обведены дважды. Пергамент дешёвый, жёсткий, с дыркой у края, которую писавший аккуратно обошёл.

«Дочери моей Жанне, от отца её Анри, стекольщика, писано в Оксфорде, на Святого Мартина, своею рукою».

Я прочла эту строчку и остановилась. Жанна. Её звали Жанна. Не Иоанн, не Жан, не «та, в чьём теле». Жанна, дочь Анри, стекольщика. Я сидела, держа в руках письмо, которое она хранила два года и перечитывала столько раз, что про-

тёрла его на сгибах, и мне стало трудно дышать.

Я читала дальше. Медленно, потому что почерк был тяжёлый и слова приходилось угадывать.

«Дочь моя, я пишу тебе это письмо сам, потому что не хочу, чтобы его писал отец Годвин, он добрый человек, но он будет плакать и всё переверёт. Лекарь говорит, мне осталось до Рождества, а может, и меньше. Ты знаешь, кашель мой нехороший, ты сама слышишь. Я не боюсь. Я боюсь только за тебя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.